

ISSN 0869-1088

СТРАННИК

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ПОЛИТИКА

1(3)92



Мы каждый раз другие и все те же. Мы еще не знаем, каким будет наш следующий номер: какие авторы в нем выступят, какие темы и интонации придадут ему особенную окраску. Но мы точно знаем, каких имен и каких тем там никогда не будет. И это дает нам право рассчитывать на ваше, уважаемые читатели, доверие, на установление с вами все более прочной дружественной связи.

Журнал наш пока в стадии становления. Что-то в нем должно и будет меняться. Мы почувствовали, например, необходимость углубления и материализации в журнале контактов с редколлекгией. Из сочувствующей и помогающей она превращается в действующую. Уважаемые люди, чьи имена можно прочесть на титульном листе, и раньше не обходили журнал своим вниманием, именно от них поступили в редакцию самые интересные материалы, опубликованные в предыдущих номерах. Да и складывалась редколлекгия, надо сказать, на основаниях не только высокой одаренности и не менее высокой порядочности, но и личного творческого участия в делах журнала. Однако до сих пор это участие оставалось для читателей как бы за кадром. С этого номера члены редколлекгии начинают вести со страниц журнала прямой разговор с читателями, комментируя культурные и политические события, представляя рукописи и авторов, создавая современный живой настрой, который крайне необходим всякому журналу, — если, конечно, он хочет быть журналом, а не сборником манускриптов. Есть у нас и такая робкая надежда, что появление на страницах обаятельных и умных людей принесет в журнал ту особенную, ничем не заменимую атмосферу теплого человеческого общения, которой сегодня больше всего, пожалуй, не хватает жителям нашей страны, безнадежно ищущим ума, тепла и обаяния в лицах политиков, на газетных полосах и на экранах телевизоров.

Нуждаемся мы и в вашем, уважаемые читатели, творчестве: ведь рубрики журнала рассчитаны на бесконечную повесть о странствии человека по жизни, куда могут быть вписаны и ваши страницы. Будет ли это рассказ, дневник, короткие заметки или просто письмо в редакцию — жанр не имеет значения. Главное, чтобы описанный на бумаге этап жизненного пути был вами действительно прожит со всем пылом чувства и с душевной болью и глубоко осмыслен.

"Странник" — не коммерческое издание. Мы не задавались целью разбогатеть, для этого есть другие, куда более верные способы. Мы просто стараемся в меру своих способностей и вкуса делать интересный журнал, честно пытаясь постичь прошлое, настоящее и будущее русской культуры. Доходнее было бы, конечно, прислушиваться не к себе, а к требованиям рынка. В первом номере за прошлый год мы даже делали маленький шаг в ту сторону, да вовремя одумались. Ведь тогда все читатели будут иметь в конце концов лишь то, что они уже имеют на прилавках кооператоров. А это все равно что талонный паек, после которого омерзительный привкус во рту да чувство голода. Этого не хватит для свободного дыхания, для долгой жизни, на которую мы вместе с вами надеемся.

Новый журнал — не просто дополнительное чтение, от которого читатель, пресыщенный печатной продукцией, легко способен отказаться. Новый журнал в России всегда означал новое духовное движение, оригинальное направление мысли, творческое объединение единомышленников — своего рода культурную партию, способную интеллектуальными и духовными средствами изменять жизнь. Мы верим в свой журнал и в то, что направление его выбрано не случайно. Мы ждем от читателей подкрепления своей веры.



СТРАННИК

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ПОЛИТИКА

Издается товариществом "Странник" при участии
СП "Нептун Пасифик" и МП "Издательство "Странник"

1(3)·92

СТРАННИК 1/92 (3)

Прямое слово

Мариэтта Чудакова. ТЯГОСТЬ УСПЕХА БЕЗНАДЕЖНОГО ДЕЛА 2

Встреча с поэтом

Андрей Битов. ВАЗА В НОЧИ. Стихи 5

Диковиный мир

Сергей Яковлев. ЧЕРНАЯ ПАУЗА. Фантастическая хроника эпохи остервенения. (Отрывок) 10

В порядке бреда

КТО МЫ, ОТКУДА, КУДА ИДЕМ И ПОЧЕМУ, И ПОЧЕМУ, И ПОЧЕМУ?.. Короткие рассказы Виктора Клейменова, Владимира Кантора, Александра Филонова, Анны Каретниковой, Виктора Ерофеева 20

Записная книжка

Марк Харитонов. ИСПРАВЛЕНИЕ ИМЕН 26

Разговор в пути

Юхан Эберг: "ПОЛИТИКИ БОЯТСЯ, КОГДА ИХ РУГАЮТ" 31

КУЛЬТУРА ПО-ШВЕДСКИ И ПО-СОВЕТСКИ.

Комментарий редактора 34

Проклятые вопросы

Борис Гройс. ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ПРОГРЕСС 36

На пепелище

Валерия Шубина. САД 46

Следы минувшего

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 12 И 13 МАРТА 1907 ГОДА 54

Из старых газет

Д. Осипов. ДОСТОЕВСКОМУ ОТВЕТИЛА ЖИЗНЬ. ("Правда" от 10 февраля 1937 года) 71

Маргиналии

Александр Белый. КОМЕДИЯ БЕДЫ 74

Письмо из-за границы

Александр Суконик (Нью-Йорк). ПУБЛИЦИСТИКА С УКЛОНОМ В ИСТЕРИКУ 81

Эхо 87

Из книг "Странника"

КИТАЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ "КНИГА ПЕРЕМЕН". Отрывок. Вступительная статья Григория Померанца 89

Учредитель
и главный редактор
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

Редакционная коллегия:
ГАЛИНА БЕЛАЯ
АНДРЕЙ БИТОВ
ЛЮДМИЛА БУСУЕК
АЛЕКСАНДР ДОБРОХОТОВ
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ
ВЛАДИМИР КАНТОР
СЕРГЕЙ ЛАРИН
ИНАР МОЧАЛОВ
ВИКТОР ПОВАЛЯЕВ
АНАТОЛИЙ СТРЕЛЯНЫЙ
ЛЕВ ТИМОФЕЕВ
ДАВИД ФЕЛЬДМАН
ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ
ГРИГОРИЙ ХАНИН
ПЕТР ЧЕРКАСОВ
БОРИС ЧЕРНЫХ
МАРИЭТТА ЧУДАКОВА
ГЕОРГИЙ ЮДИН

Главный художник
ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ

В оформлении номера использованы
картины художника
Василия Шульженко (первая
страница обложки, стр. 10,15)
и фотоработы Владимира Филонова
(стр. 5,27)

© "Странник", 1992

Адрес редакции: 121019,
Москва, а/я 60
Тел. 241-45-52

Цена договорная

Зак. № 53. Тир. 5000 экз.
Красногорская межрайонная типография

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА



Фото
Вячеслава ПОМИГАЛОВА

ТЯГОСТЬ УСПЕХА БЕЗНАДЕЖНОГО ДЕЛА

Несколько дневниковых записей, конец января — начало февраля 1960 года:

"Весь последний год — особенно полгода — я пытаюсь обрести непосредственность ощущений. Кто вытравил это во мне и во многих моих сверстниках?..

Как легко с моим образом мыслей стать профессором Серебряковым — писать об искусстве, ничего не понимая в нем.

Вся литература пишет о чувствах общих, известных и понятных решительно всем. А чувства индивидуальные, подсознательные?.. Надо бы описать и их. Например — как люди представляют себе год? Вообще время? Прошлое и будущее?

У Хемингуэя — полнейшее правдоподобие. Нет подделки под непосредственность и глубину, лиричность... Почему он дает всем нашим сто очков вперед? Потому что каждый, даже самый незначительный, эпизод в жизни его героев вызывает у них огромное интеллектуальное потрясение; они постоянно мыслят и чувствуют.

Полевой да Луговской..."

Невежество, косноязычие, блуждание впотьмах. И странная вера в возможность преодоления всего на свете, бесконечная готовность к усилию, напряжению — вот наша юность. За несколько лет до этих записей в сумерках будничного холодного дня дочитывался вслух длинный-длинный доклад (кажется, читали четыре часа, не меньше) в Коммунистической аудитории в гробовой тишине. Только один раз за все время прошел недовольный студенческий шумок над рядами амфитеатра — в самом начале, когда объявили внушительно: то, что сейчас будет оглашено, "обсуждению не подлежит!" Одноногий Волков сложил бумаги, двинулся, стуча костылем, к выходу, за ним — президиум, преподаватели, члены партбюро. Стали выходить в молчании и мы, студенты филфака. (Доклад Хрущева зачитывался, как памятно современникам, "партийно-комсомольскому активу" в каждом учреждении и предприятии, то есть практически всем, кто узнал об этом и пришел в зал.) Сильнейший импульс, полученный в тот день, порыв ветра над полной крови бездной, понесший в последующие годы, можно было бы, наверно, выразить так: больше ни слова лжи!

Но как говорить и особенно писать без лжи — я не знала. Кто-то среди моих сверстников, конечно, уже знал — или узнал быстрее, чем я. Но все же у всех нас был запас, зазор в несколько лет — на осмысление. Еще можно, бездействуя, взирать, толпясь в университетских коридорах, сквозь некую умственную завесу на все происходящее с автором неведомого романа со странно, вычурно звучащим названием: не "Ясный берег", не "Испытатели", даже не "Времена года" (тут уже была новация! Нынче ничье юное ухо ее уж не расслышит!), а — "Доктор Живаго". Живаго... Живаго... "Доброго здоровья". Старой эпистолярной традицией веяло на недавно лишь с ней ознакомившихся. Какой-то выверт, вывих был заключен в самом имени героя почти неведомого (!) автора.

— Мариэтта, да ты же не читала Пастернака, — сказал со всегдашней своей прямоотой Алик Жолковский.

— Ну почему же, — неуверенно ответила я. — "Лейтенант Шмидт"... "Девятьсот пятый год"... (Я выбирала полубессознательно революционные названия. Почему?.. Это и было умственно-психологическое блуждание.)

— Да нет, это не то!.. — Он сожалеет махнул рукой.

И много-много лет потом, уже не только перечитывая Пастернака, но и углубляясь в него время от времени профессино-

нально, я помнила этот перепад: Алик, думала я, знал всего Пастернака задолго до этого разговора! И это служило напоминанием-стимулом. И только в 1990 году в Лос-Анджелесе, ведя семестр в том университете, где Алик давно был профессором, я услышала от него: "Да в том-то и дело, что я сам тогда только что открыл для себя стихи Пастернака — и был под сильнейшим впечатлением..."

Я же тогда знала "Повесть" — в доме была только эта его книга, с рисунками Конашевича; в детстве я читала ее и перечитывала — и потому оказалась впоследствии как-то подготовлена к прозе Пастернака, стихов же его (как и Мандельштама), придя в университет, не знала совсем.

Таков был филфак конца 50-х.

Поколение тех, кто был старше нас хотя бы на три-четыре года, особенно же на восемь-десять-пятнадцать, запаса времени для размышлений не имело. Они были уже взрослые, а иные и с именем, и должны были продолжать профессорскую работу.

Речь идет в основном о людях пишущих — гуманитариях: филологах, искусствоведах...

Те, кто писал в широкой печати в конце 50-х — начале 60-х годов, чьи имена быстро оказались на слуху у читателя — первые живые голоса, — и образовали разновозрастное (на старте хрущевского десятилетия — от двадцати пяти примерно до тридцати пяти лет) поколение "шестидесятников".

...Любопытно, что они довольно энергично обратились к шестидесятникам же минувшего века, к "революционерам-демократам". Сказать "правду" о них им представилось почти первостепенным. О них — и о безвинно пострадавших верных ленинцах.

Да, времени на размышления было мало.

Ведь все они были профессионалы, должны были писать. А как нужно было хоть какое-то похожее на человеческую речь слово после десятилетия послевоенного речевого оцепенения! Сегодня и не рассказать уже (не поймут!), что именно должны были объяснять со страниц "Литературной газеты" (выходившей тогда три раза в неделю) эти критики: что некоторые поэты пишут не про труд, а про любовь, и это хорошо, а не плохо... Нет, уже невозможно объяснить. Трое критиков — Б. Сарнов, С. Рассадин, Л. Лазарев — больше всех, наверно, занимались в конце 50-х этим необходимым ликбезом и действительно в нем преуспели.

А то смутное чувство, с которым повествовалась школьными учителями и выслушивалась школьниками 1951-1952 годов история, как Воронцов послал Пушкина на саранчу?

Нет, не описать уже!

Все-таки попробую.

Тишина в восьмом классе. Молчаливое внимание отроковиц, пытающихся уразуметь (какими-то почти не контролируемые этажами сознания), где же граница рабства, и подумывающих, пожалуй: а не надо ли было Пушкину выполнить приказ начальства?.. Ничто решительно в окружающей жизни не говорило о том, что кто-то может быть исключен из правила. Всеобщее подчинение стояло в воздухе эпохи. В том-то и дело, что были препятствия именно к подумыванию хоть одной мысли до логического конца.

В той особой улыбке, с которой рассказывали учителя эту историю, где разрешалось, и дозволялось, и вменялось сочувствовать свободолюбивому Пушкину, было нечто нестерпимо фальшивое. Но в воздухе того времени любое непосредственное восприятие — факта ли, поэтической строки — задыхалось не разгораясь. И ранние "шестидесятники" стремились вернуть читателям доверие к пяти чувствам, к непосредственности чтения. Они утверждали это доверие, среди прочего, собственным примером. В их статьях появилось это долгожданное "я", которое, правда, быстро стало почему-то мерз-

ким: "Я размышлял, стоя у газетного стенда..." Появились "раздумья" о своем "творчестве" и даже: "создавая... я..."

...Дудинцев... стихи Коржавина... "По ком звонит колокол" — машинописан на папиросной бумаге... песни Булата Окуджавы, о несравненном, освежающем, переворачивающем в действительности которых на весь духовный ландшафт времени надо писать особо и длинно...

И еще раз — к началу, старту. Художественная выставка 1956 года. Усваивание разницы: Сергей Герасимов — это вам не Александр Герасимов. Пластов — его распаренная девка в деревенской бане. Школьный друг собирал открытки с русскими пейзажами. Светало — какой жиденький светик лился! А казался потоком золотистого горячего света!

Можно стало не заставляя себя любить весь этот серый, бесцветный смрад! Можно было! Но что же, что же именно любить — и как?.. Все было недоделано, недовыявлено, лишено формы, культурных опор...

...В редакциях повсюду уже висел Хемингуэй в свитере. Это через десять лет его скривились черно-белые фото в рамках сменяют большие глянцевые цветные листы на тех же стенах. Дева с книжкой в руках. Голландец с вьющимися спиралями золотистых волос до плеч. Ярче, ярче будет антураж.

...Это было время, когда появились вольные, развалистые названия на вывесках. Магазины "Тысяча мелочей" вместо суровых, аскетических "Промтоваров", к которым привыкли в те годы, когда если и нуждались в "мелочах", то в очень ограниченном ассортименте: нитки, иголка, да еще иголка для примуса. Уж, во всяком случае, кричать об этом во всю вывеску и в голову не приходило.

Вскоре (но не сразу!) появились жанры "вечеров": "Встреча с таким-то".

Уже начиналась ироническая проза. Сначала она сама себя так не называла. (Только спустя десятилетие, уже на ее излете, появилось само это обозначение жанра на шестнадцатой полосе "Литгазеты" — важное название, века в литературном процессе.) Но явилось это легкое, с усмешечкой отношение автора к им описываемому — необходимое, как глоток воздуха задышающемуся. Ведь столько времени перед этим нельзя было со смехом говорить о нашем сегодня. Быстро появились книги об Ильфе и Петрове — авторы переполнены были сознанием собственного героизма в связи с выбором темы.

Вот тут бы, тут бы — это уже шел 1962-й! 1963-й! Уже Солженицын печатался в "Новом мире!" — "шестидесятиникам" остановиться, додумать все до конца насчет "комиссаров в пыльных шлемах". Но уже шла вся борьба. Угрожала реабилитация Сталина. "Возвращение к ленинским нормам" снова оказалось в руках прогрессивных критиков — как старое, но грозное оружие (Маяковский это предвидел!).

"Шестидесятники" уже вступали в партию (те, кто не успел вступить в военные годы — или в 1953-1954) — чтобы бороться успешней... Они настаивали печатно на этом "возвращении к нормам" — каким? Значит, они лгали? Да нет, скорее не считали нужным, вернее — важным, дать себе отчет в своих собственных мыслях. Это были, в сущности, и не мысли (времени на созревание мысли так и не выкроилось), не политические убеждения, а только средства борьбы.

После того доклада, после Оруэлла и Кестлера в бледных машинописных списках на тонкой бумаге додуматься до представления об общем контуре трагедии, развернувшейся начиная с октябрьских дней 1917 года, было только делом техники — удостоверяю как прямой участник социальной жизни тех и этих лет. Вина "шестидесятников" в том, что вся их мыслительная энергия постепенно перекачалась в журнальную борьбу — с цитатами из Ленина и с чем придется в руках. Потребность в целостном взгляде на эпоху так и не возникла — не стала актуальной. А их ведь слушали, их читали с доверием — вот почему говорю о вине. Опора на Ленина в статьях

Лакшина — авторитетного, уважаемого критика — отравляла умы во много раз более, чем в статьях критиков из "Октября", над которыми висел их знак.

Потом они и вовсе рассосались, расточились в тумане 70-х. Сидели дома, пили со вкусом за успех безнадежного дела. Ощущение безнадеги стало визитной карточкой порядочного человека. "Как дела?" — "Да все хорошо..." Такой ответ обескураживал любого собеседника. Как это у тебя "все хорошо", когда вокруг все так плохо? Может, ты ненормальный или гэбист?

Советская цензура 70-х — начала 80-х осталась сильно недогруженной — утверждаю со всею ответственностью. "Шестидесятники" поддерживали в обществе ностальгическое убеждение в том, что т е п е р ь ничего напечатать нельзя. И н и к о г д а уже не будет м о ж н о в этой отдельно взятой стране.

Новое время застало их врасплох. Пришлось наспех додумывать недодуманное своевременно за минувшее аж тридцатилетие.

Вновь почувствовав себя "авангардом", они обратили большую часть своих убывающих сил на борьбу — со старым, испытанным оружием в руках. "Дальше... дальше... дальше..." — понеслось с театральных подмостков и со страниц печати — дальше, в даль наилучшего, наиправильного социализма.

По второму разу вскрывшиеся ужасы советской эпохи быстро — всего за два-три года! — отрезвили наш народ относительно нашего славного прошлого. В крови и грязи встала на экранах телевизоров и на глянцевых страницах "Огонька" наша история. Вера в прежнюю идеологию кончилась бесповоротно. В умах образовался вакуум.

Чем же заполняли его те, кто привык в литературоцентричном российском обществе властвовать над умами?

Меняли Сталина — на Бухарина. Да, четыре года пошло на то, чтобы прилюдно, на глазах многомиллионного читателя, жаждавшего не двоедушия, не "одни пишем — три в уме", а доподлинной правды или хотя бы искреннего признания в неоплавлении ею, искреннего самоанализа, неряшливо пройти тот умственный путь, который пишущему человеку давным-давно следовало пройти, а без этого и не брать пера в руки. И с первых месяцев нового времени эти люди оказались, в сущности, чужды молодым, для которых советская часть, от комиссаров в пыльных шлемах до очевидно смрадного жизнеустройства начала 80-х, была презираема в целом.

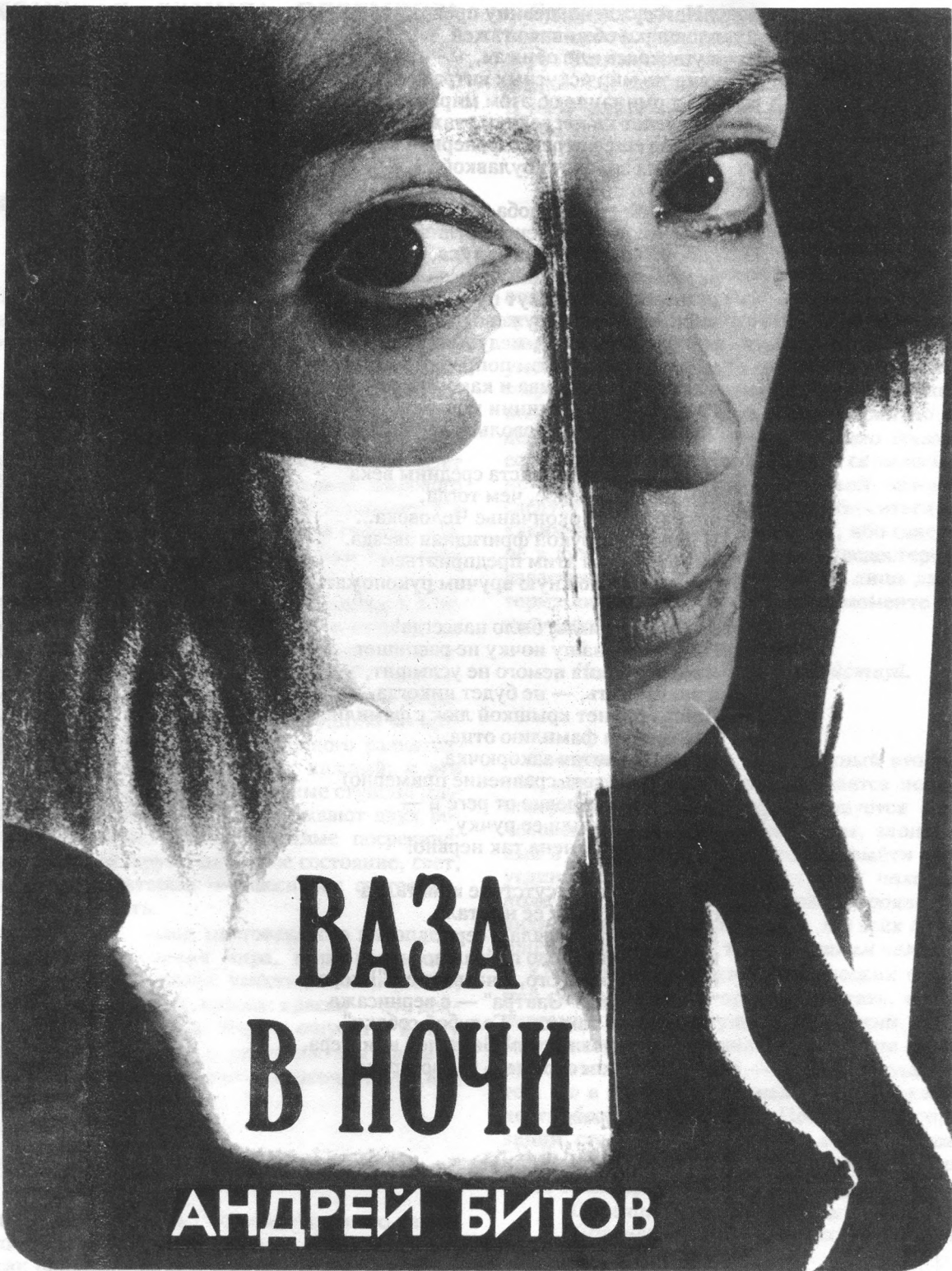
"Совками" — то есть привычными ко "лжи во спасение", к манипулированию людскими умами ("нет, полезней сейчас будет сказать так...") — были для них и "шестидесятниками". А "шестидесятники" гордились своей биографией. пренебрежительно смотрели на тех, кто не имел их "опыта борьбы". Как мало сделали они в эти годы (в отличие, скажем, от интеллигенции прибалтийских республик) для сближения с разными слоями собственного народа, в том числе с молодежью! Они ее, в сущности, в упор не видели. И она платила им тем же, отворачиваясь от "общественной активности" с молодой брезгливостью ко лжи, недоговоренности, свисавшей гнезда в верхних этажах "демократических сил".

Молодежь вступила в дело лишь на той площадке, где враз кончилась ложь, где мы все вместе впервые без различия поколений и биографий скандировали простые трехсложные слова.

... "Шестидесятники" в то утро, 19 августа, почувствовали леденящий ужас. Многие рассказывали потом: "Я понял: все, мне — крышка". Здесь важны оба слова: "крышка" и "мне".

Они шли к Белому доку, чтобы — погибнуть; их дети шли — победить и жить.

Победа далась тому поколению с трудом. Поражение они приняли бы с большим умением. Не придется изучать неизвестную русскому интеллигенту науку побеждать.



ВАЗА В НОЧИ

АНДРЕЙ БИТОВ

"Ночная ваза" — есть стихотворенье,
что надо выводить как уравнение...
где нынешние дни и прошлые эпохи
равны друг другу, словно выдохи и вдохи.

встреча с поэтом

...Нам суждено, девицу провожая,
площадки обживая этажей
и унижаясь или обижая,
увидеть мир искусных витражей.
(Воспоминание об этом мираже
настигнет на последнем этаже,
где цел еще витраж с фанерной вставкой,
а грация заколота булавкой...)

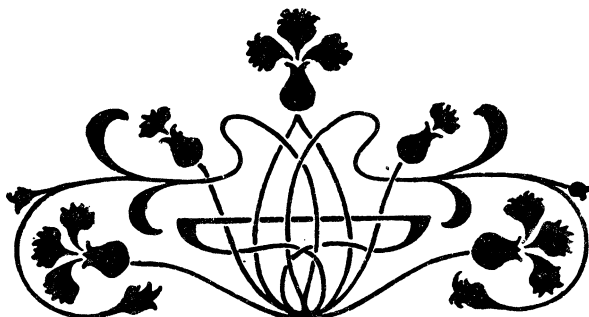
Условной девы худоба, длина
и золото волос зеленого отлива,
напомнив очертанья валуна,
перенесет нас к Финскому заливу...
пузатой пены лопнут пузыри,
сойдет волна, и кружево отлива
ракушку обнажит, медузы след ленивый
и водорослей клок... попробуй усмотри,
как прямо. зна крива и как прямое — криво.
Развитый локон линии модерна
природу отразил довольно верно.

Из-за фанерного листа середины века
нам видится яснее, чем тогда,
его начало — окончанье Человека...
И вянет под рукой фригидная звезда.
Мы утомимся этим предприятием
и нежность ложную вручим рукопожатью.

Ах, то, что было, было навсегда!
Никто нам нашу ночку не распишет
и восклицания немого не услышит,
и то, что есть, — не будет никогда.
Лишь брякнет крышкой люк с фамилией купца,
похожей на фамилию отца...
и вензеля литая закорючка
напомнит (хоть сравнение примерно)
последнее наследие от реге'а —
ночную вазу или ее ручку,
которая исполнена так нервно!

Да, страшное отсутствие кристалла
есть жизнь! Но и ее не стало.
И нерва нить, уныла и сера,
напоминает дерево пейзажа,
петровски-мокрого, с названием "Вчера",
"Сегодня" или "Завтра" — с вернисажа
"Бродячей" там или "Голубой собаки",
что писан позже, чем Бердслей или Сера,
но ранее, чем скрылось все во мраке.

*17 сентября
Невский проспект*



НОЧНАЯ ВАЗА —

есть стихотворенье,
что надо выводить как уравнение...
X, Y, Z...
Икс с Игреком прогулку
затеяли.
Чтоб не столкнуться с Зетом,
пришлось им по другому переулку
назад пройти
(о, северное лето!
а Игрек, как назло, легко одета,
дрожит...
и дом свой не узнала сразу...) —
с возлюбленной все выглядит иначе:
и на углу,
так непривычно глазу,
Икс видит вазу...
"Я говорила, Зет вернется с дачи!.." —
отпрянув, плача
прошептала Игрек...

...Зет —
руки в боки,
как большая гиря,
светился за углом, блее мела,
возмездием сливаясь с ночью белой,
безвыходный подсказывая способ,
как Игрек защитит,
и изо всех вопросов
и страхов —
на один:
"Ты любишь?" —
"О, всегда!" —
ответил облегченно
Икс Игрек.
Ряд отточий...

О, белая вода
волшебной ночи!

...Но,
между прочим,
Икс-Игрек минус Зет
чему-нибудь равно...

Икс — Игрек получил,
Зет не вернулся с дачи,
а все равно
Икс, в виде сдачи,
с его собакою гуляет.
Сетгер Альфа
обходит с Иксом регулярно
в а з у ,
дабы обнюхать и присесть...
Икс Альфу ждет...
закончить фразу
мы можем лишь изгибом
коварным вазы
из эпохи "мо-
дерн" был русский,
русский был модерн
в начале века.

И может быть, само
собой, что к ночи
напоминает
ваза
человека...

Хотя — не очень.

17.9.71

08.7.80

Невский проспект

НОЧНОЙ ГОРШОК

(Воспоминание о Рыбачьем)

Анне.

И вот отлив... Среди мочалок тины
Выклеываю зерна янтаря.
Вдыхаю тлена запах непротивный
И время провожу свое не зря.

Бежав от суеты, системы и обид
В сень, мне любезную, — прекрасного пейзажа
В упор не вижу... Мне по силам вид —
Бутылки, поплавки, ракушки, пробки, скажем.

Мир за моей спиной и мир вокруг меня,
И я в нем заключен, как следствие в причине,
Как выброшенный морем бытия
Тот янтарек. Как муха в паутине.

Последнее вниманье истребя
На гребешке волны, на доньшке отлива,
Что мне найти еще внутри себя?..
Остановись! Взгляни на гладь залива!

Там солнце и лазурь! Там парус и крыло!
Там не куриный — Бог! Там все, чем мы не нищи...
Здесь — лодочный скелет, обглодано весло,
Оборванная снасть, бочоночные днищи...

Здесь сон обуглился, как яви бахрама...
Ночной горшок слепит на солнцепеке,
Он бел, как кость, и чист, как смерть сама, —
В нем ничего ночного и в намеке!..

То тень иных богатств, наследственный настой
Из Стивенсона или Робинзона...
И я нашел горшок. Он полон пустотой.
И я забыл, что это погранзона.

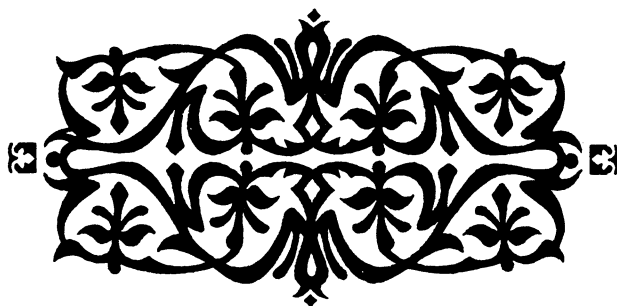
"Стой! Кто идет?" И ты встаешь, как штык,
Как лист перед травой, стыдясь своей добычи.
Ты нарушать законы не привык
В одних трусах средь знаков и отличий.

Они тебя простят, они тебя поймут,
Они отпустят, лишь прогонят с пляжа...
Лишь посмеются... даже не пугнут,
А ты придешь домой и ты на койку ляжешь...

И будешь думать ты о том же, все о том,
Что есть и есть они, а нас как будто нету,
Что жизнь свою на берегу пустом
Нельзя воспринимать за чистую монету.

*15 августа
Невский проспект*





**"Странник" печатает рекламу и объявления
писателей, художников, фотомастеров,
деятелей искусства и науки,**

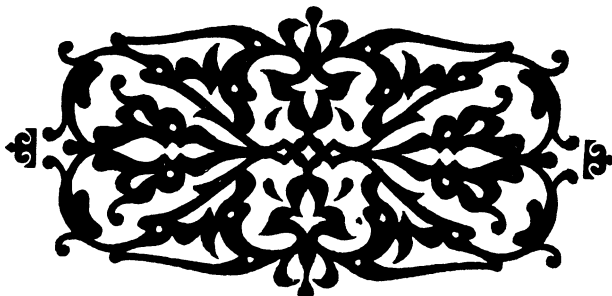
**а также литературных объединений, театральных
и художественных студий, издательств, музеев, библиотек,
клубов и других учреждений культуры.**

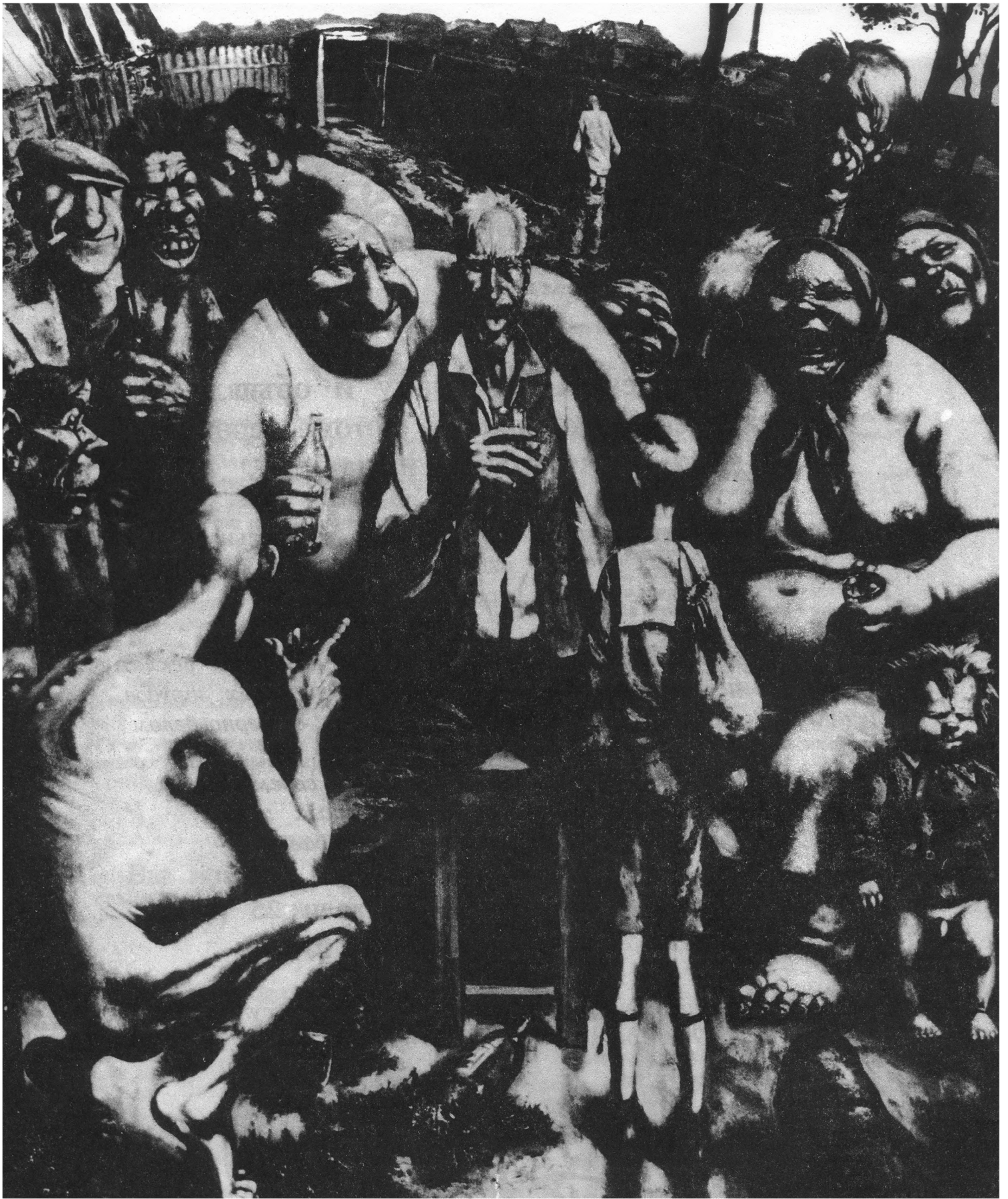
*Заказчику предоставляется возможность сопроводить рекламу
фрагментами литературных произведений, научных трудов,
репродукциями, фотографиями и афишами в черно-белом
исполнении.*

*Он выбирает шрифт и оформление по своему вкусу.
Произведения, публикуемые в рекламных целях,
не подвергаются редакторской правке.*

**Цена 1 кв. см журнальной площади 25 руб.,
одной полосы — 10 тыс. руб.**

*С предложениями обращаться по адресу:
121019, Москва, а/я 60. Тел. 241-45-52.*





СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

Черная пауза

Фантастическая хроника эпохи остервенения

Отрывок

Глава из романа-хроники, публикуемая ниже, написана мной двенадцать лет назад, в начале 1980 года. В то время немало молодых литераторов, моих сверстников, писали то, что не могло быть напечатано, и были полны решимости так или иначе отстаивать написанное. К сожалению, решимость эта стала в последние годы все более вытесняться неуверенностью. Авторы подпольных сочинений, которым не посчастливилось выйти на свет в краткий промежуток между "нельзя" и "можно все", начинают думать, что дело их безнадежно проиграно: написанное тогда уже не в силах соперничать в радикализме с написанным теперь. Хотя кое в чем другом — очень даже в силах. Убежден, что в задвленных пластах 70-х — начала 80-х скрытно проросло немало такого, что со временем, будучи раскопанным, может стать сенсацией. Для того, чтобы помогать всему этому "возникнуть", мы отчасти и создавали свой журнал.

Я не знал и не мог предвидеть тогда, что произойдет в стране через пять-десять лет. Но я хорошо чувствовал, что происходит с людьми, и предвидел, что может произойти.

Российское государство веками усердно превращало многомиллионный народ в скопище отчаявшихся террористов. Началось это, может, при Пушкине (ужаснувшись в "Медном всаднике" своему открытию), а может, гораздо раньше. Для нас все-таки важнее не когда началось, а когда кончится. К несчастью, тенденция имеет склонность расти и дошла уже до таких пределов, которые, как говорится, Пушкину и не снились. Облик меняющейся во времени власти роли не играет. Всякая власть в России с давних пор до наших дней несет в себе роковое основополагающее свойство: она была и остается — да-

же не средством наживы, это бы куда ни шло, хуже — способом выживания. "На всех все равно не хватит. Но если у меня будет хотя бы маленькая власть, я выживу за счет других." Это — логика мародеров. Пока в России властвуют мародеры, в ней не будет ни порядка, ни покоя. Когда-нибудь это придется усвоить. Иначе все очень плохо кончится.

Для тех, кому противно читать такую прозу, замечу, что ведь и жить нам было противно, тошно просто. Эта-то энергия и изливалась в рукописи. Часто отечественную атмосферу тех лет сопоставляют с фантазмагориями Ф. Кафки. С точки зрения пишущего я бы усмотрел в той эпохе, условно говоря, скорее "фолкнеровскую" ситуацию: отвращение к собственной стране, к ее правителям и населению, странно сочетающееся с верой в народ, нацию и с гордостью за людей, индивидуумов, которых эта страна способна родить... Не знаю, объяснение это или рецепт. Ибо не стоит обольщаться насчет нынешнего состояния наших желудков. И если вернуться к незабвенному Кафке, то, боюсь, в его безрадостный мир Россия только-только начинает по-настоящему въезжать.

Мне кажется, что тогдашние наши темы и переживания, временно потесненные другими темами и переживаниями (не только в печати, но и внутри нас самих), не потеряли своей значимости и должны быть обнародованы. Только эту цель я преследую своей публикацией, хорошо вообще-то понимая, что печатать небольшую главу из большого романа, неизвестного публике, — дело во всех смыслах безнадежное.

Автор.

Стеклопоблескивающая в полутьме полоса рельсов удерживала внимание недостоверностью своего внутреннего свечения, и Сеня, соскальзывая с откоса вниз по мокрым опавшим листьям, уверен был, что обязательно ударится об рельс голой. Но почему-то не ударился. Это его насторожило как выпадение из привычной схемы жизни, иррационализм которой уже начинал устраивать уставшее сознание. Магический рельс оказался границей смысловых пространств. Сзади все продолжало осуществляться по старой абсурдной схеме, там сползала по глине на четвереньках беременная жена, распластав руки и ноги, как жаба, а на небе среди тяжелого ненастья развезло кровавые ступки, словно соединились в нем война и смерть.

— Я есть хочу, — жалобно сказала Оля, сидя на земле.

— Мы перешли к другой жизни, — ответил Сеня, улыбаясь со снисходительностью посвященного. — Сейчас поужинаем в ресторане с шампанским. — На всякий случай он остался по ту сторону рельсов и махнул рукой дальше, туда, где Оля видела лишь чернеющий железным хламом пустырь. — И пригласим всех, кого сегодня встречали, потому что ведь они не виноваты, что оказались в испорченном кусочке мира, правда? У меня два рубля. У тебя сколько денег?

— Четырнадцать копеек, — сразу убежденно ответила Оля, потому что в сегодняшних скитаниях по городу всякий раз платила за двоих в автобусе и боялась, что не хватит.

— Вот видишь! Мы возьмем пять бутылок.

— Мы не ели с утра, — пробормотала Оля, сидя в голубом плаще на кучке перемешанной с листьями глины и озабоченно глядя на свой выпирающий живот.

И Сеня вспомнил, что ночевать им сегодня негде.

— Отряхнись, — сказал он. — Пойдем по квартирам.

Она покорила, но вначале присела тут же у насыпи, глядя на Сеню виновато, оскальзываясь промокшими туфельками в пенной жиже. Сеня подумал, что по ту сторону рельсов тоже реальность, такая плохая реальность, в которой нет надежды не только на успех, но даже и на прояснение темных чувств. "Непонятно, зачем мы сползли в овраг. Придется вернуться и начать все сначала."

Вначале была старуха-капустница, которая кричала: "Девочку мне, девочку! Сдаю только девочкам!" Хотя кричала вроде бы и не она, но Сеня твердо знал, что это именно она сменила маску, высовываясь в форточку и прикидываясь мужичиной, однако не успела преобразиться до конца и осталась гермафродитом.

Старуха была первой фантазией нереального дня. Они разыскали ее по объявлению, она вылезла из-под земли, из-под овощного магазина, находившегося в подвале (продавщица как раз и вывела ее на свет, сами они ни за что не отыскали бы подземное жилище), появилась, как мокрица, и вперила в Сеню мутными глазами. Все чего-то ей не удавалось в нем ухватить. Сеня завел

рассудительный разговор, удивляясь, почему она молчит и так странно смотрит, больше похожая, пожалуй, не на мокрицу в своих многочисленных вонючих накидках, а на сгнивший кочан капусты. Черная трясущаяся рука ее выскакивала из шелухи одежд и тянулась к Сене, словно мечтая пощупать материя его пальто.

— Отвечайте же: сдаете вы квартиру или нет? — раздраженно выпалил наконец Сеня, обезоружив тем самым себя перед старухой.

Именно в этот момент она за него и зацепилась. Радостно зажглись бесцветные, как огоньки в подzemелье, глазки (старухин взгляд был первым иррациональным впечатлением этого страшного дня). Затем старуха молча повернулась, за все время не произнесла ни звука, и поспешно заскользила прочь, снова похожая на мокрицу, перебирая по стене дрожащими конечностями. Сеня чувствовал необходимость схватить ее сзади за гнилое тряпье, закричать, чтобы привлечь к себе ее внимание, хотя бы ненадолго продлить этот вещий взгляд и разгадать в нем тайну своей обреченности.

— Вернитесь! Вернитесь!

Он сбежал по стертым до черного блеска кирпичным ступеням, поскользнувшись на сырой картофелине, уткнулся в чугунную дверь и два беззвучно ударил в нее кулаком. Оля ковыляла сзади, пытаясь удержать его от скандала и что-то приговаривая насчет других адресов. Но при чем тут были адреса и квартиры, когда старуха предсказывала гибель!

— Открывай, старая колдунья, не то я позову милицию!

Наивная детская злость, теперь-то вывернувшая его всего перед старухой наизнанку. Он отчетливо представлял, как она беззвучно хохочет за дверью...

Собирая затем мысли в тряске автобуса (ехали искать дальше по адресам, списанным накануне с объявлений на заборах), Сеня думал, куда ему деваться от остервенения. Когда они поженились, Оля снимала угол в коммуналке, и Сеня даже приходил иногда по вечерам в ее каморку, когда там не было хозяйки, бабы Вали... Он прикрыл глаза, наложив на излишне детализованную внутренность автобуса мазок воспоминания: смущенная Оля складывает на полу коврик, на котором они лежали, потому что крохотная кушетка не годилась для супружеской жизни, идет вытряхивать, жалко улыбается от двери... А на ночь возвращался к себе в общежитие, устало пытаясь отыскать в казенной подушке запах ее тела. Тогда остервенение еще тонуло в новых ощущениях и в истоме...

Каждый носит защитную маску, думал Сеня в автобусе, а того, кто ее не имеет, немедленно уничтожают, чтобы не обнаружить какой-то великой всеобщей неправоты, круговой порукой сцепляющей жизнь. Сам Сеня выживает лишь за счет неопытности и природной замкнутости, являясь как бы куколкой во всеобщей системе микрии. Когда же он благодаря Оле окунулся в жизнь и попытался в ней раскрыться, это сразу поставило личное существование под угрозу. Люди-маски выжидают, когда он полностью сбросит скорлупу (а ведь в этом и состоял внутренний смысл его движений — полностью раскрыться и очиститься, на этом строилось обретение гармонии внутри и вовне), чтобы тотчас схватить и

проглотить. Последняя надежда внести оправдательный смысл в эту опасную деятельность, не поддающуюся нравственным оценкам, была в любви к Оле.

— КОНЕЧНО Я ИХ ПОСЕЛЮ А ТЕБЯ НЕ СПРОШУСЬ! — кричала молодая брюнетка с теплыми зеленоватыми крапинками в карих глазах (немного изношенная, но сохранившая мягкость черт, признак регулярной жизни), пока они робко переступали в прихожей усталыми ногами. Сеня благодарил судьбу, что послала им такую славную хозяйку, и тактично прикрывал собой Олин живот.

— КОНЕЧНО НЕ СПРОШУСЬ ТЫ САМ КОГО ХОЧЕШЬ В ДОМ ПРИВОДИШЬ А Я БУДУ СПРАШИВАТЬСЯ!

Все это говорилось бородатому долговязому человеку, который, как привидение, то выступал из двери в дальнем конце комнаты, то снова молча исчезал за ней.

— БУДУ Я СПРАШИВАТЬСЯ КОГО В КОМНАТУ МОЕЙ МАМЫ ВСЕЛИТЬ! Вы по объявлению, да? — доверительно обратилась она к Сене с Олей. — Вот и хорошо, прямо сейчас устраивайтесь. А ЕСЛИ ТЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ МОЖЕШЬ УБИРАТЬСЯ К СВОИМ ПОДРУГАМ ИЛИ КО ВСЕМ ЧЕРТЯМ ГДЕ ТЕБЯ ЛУЧШЕ ПРИМУТ ЗДЕСЬ О ТЕБЕ НИКТО НЕ ПОЖАЛЕЕТ. Мы и одни проживем с вами, правда? Ой, вы ребеночка ждете, ну просто идеальная молодая пара, как раз то, что нам надо. Проходите, что же мы с вами стоим. Ремонта, правда, давненько не было, зато все удобства, газ, горячая вода, с ребенком будет замечательно. Газовая плита совсем новая, четырехконфорочная, только поставили, хотите газовую плиту посмотреть?

— Баргру припру хубрак зарипертью газовую плиту! — невнятно пригрозила борода за дверью, выставив наружу голую волосатую ногу в старом шлепанце.

— Это мой муж, не обращайтесь внимания. Вот плита, здесь на всех места хватит. Если вам больше двух конфорок понадобится, подливочки там, соусы какие, можно будет договориться... Да что я! Вы же не знаете про кафельную стенку. Идите сюда. Посмотрите, как я отделала туалет, теперь с уборкой никакой проблемы.

Они оба порывисто и робко следовали за хозяйкой по квартире, желая спрятать под себя, а то и вообще куда-нибудь внутрь свою разбитую, грязную обувь и все другое, что могло помешать счастью, но Сеня с тоской начал догадываться, что женщина преследует свои особые цели и вряд ли даже себе отдает отчет, что и кому она говорит.

— Все ведь я одна, этот курильщик как запрется в кабинете с компанией, так неделю может просидеть безвылазно... — Шепотом: — Он у меня художник! А ТЕПЕРЬ ПОЙДЕМТЕ СМОТРЕТЬ КОМНАТУ.

— Гребу синкленарную комору, хули куркули квартира хамам! — разразилась борода, злобно дрыгнув драным шлепанцем. Затем дверь с грохотом захлопнулась, и из-за нее послышались ритмичные тупые удары, словно кто-то там бился головой об стенку.

— Ой, господи... Подождите минуточку, я найду к нему. — Брюнетка занервничала и сделалась вдруг совсем несчастной.

В соседней комнате, когда она скрылась за дверью, вспыхнула ссора, там что-то падало, звенело, отчаянно визжал женский голос. "Надо уходить, — думал Сеня. — Она выйдет оттуда в крови, если выйдет. Неужели ее бьет целая компания? Куда об этом сообщить?" Мелькнула подленькая мысль, что если он сейчас вырвет женщину из рук бандитов, то квартира наверняка уже останется за ними. Сеня внутренне собрался, шагнул...

Навстречу вышел бородатый, на ходу застегивая ширинку. Прихватил с вешалки свой плащ и быстро исчез.

— Сходи посмотри, — шептала дрожащая Оля, повиснув на Сене. — Если он ее убил, подумают на нас...

Брюнетка вышла такая же, лишь с немного растрепанной прической и остекленевшими глазами, в которых перегорело мутное желание ("До чего же хороша!" — мучилось в Сене подпольное голодное чувство), с невольно блуждающей по лицу улыбкой, которую люди почему-то прячут и даже раздражаются, если их в таком виде застают посторонние.

"Как они боятся, когда увидишь их без маски!"

— Вы еще здесь?

— Большое спасибо, нам все очень нравится, и плита, и кафельная стенка, огромное вам спасибо, мы сегодня же переедем.

Оля выступила из-за Сениной спины в самый неподходящий момент, когда он уже все знал, эта Оля, до сих пор везде трусливо молчавшая, — то ли просто по дурости своей, то ли оттого, что Сеня слишком долго не отвечал, всматриваясь в эти бесстыжие красивые глаза и пытаясь запомнить симптомы человеческой продажи, и ей стало за него стыдно... А может, она тоже почуяла, испытала беспокойство и решила все спасти. Эх, бедненькая, разве этим спасешь!..

Проклятый непойманный город! Притаились кучками в подворотнях, сползли к мусорным бакам — фантастические сколопендры, высматривающие слепыми зрачками из своего водянистого телесного мрака, кто первый упадет на вздыбленном асфальте тротуара, соскользнет в лужу по густому налету окурков, листьев и плевков, чтобы сейчас же наброситься на него и проглотить. Стены в черных потеках, будки телефонов, устало извергнувшие в слякоть свое чрево от непрерывного тупого изнасилования, непрветриваемый запах человеческой мочи близ полинявших плакатов с маем, счастьем и трудом. Толкутся мальчишки с серебристыми пращами (говорят, они изобрели особого вида паутинные пращи, которые мгновенно разрезают человека пополам), опутали нитями всю улицу, нацеливаются, набегают, не сворачивая, заталкивают в тенета. "Иди сюда, красавица! — наступает один на Олю, на брюхатую Олю, распахивает перед ней свою вонючую капроновую курточку. — Иди сюда, красавица!" Как ты смеешь, сопляк! — нет, молчи, не то погибнешь, вон ему уже подмигивает из-за дощатого ларька усатый мафиози, а у мальчишки в руке смертоносная серебряная нить, протянутая с крыши соседнего дома, он смотрит нагло, как паук, наслаждаясь безнаказанностью своей преступной плоти... Осень.

Следующая сцена происходит на улице.
Подмоченный дождем
старый квартал, невзрачные трех-
четырёхэтажные дома,
неподалеку сумеречный зев подворотни.

Слабохарактерная женщина. Ножки-то у девочки промокли! Та вы посмотрите, у нее ж туфельки разваливаются! Разве можно ей простужаться, у нее ж ребеночек скоро будет. Зашли бы домой, обсушились...

Оля (с готовностью). У нас нет дома, тетенька!

Слабохарактерная женщина. Та где вы живете?

Оля (жалобно). Мы жили у бабы Вали, сначала все ничего, честь честью, а потом, как говорится, ни себе, ни людям, согнала нас и отправила искать другую квартиру.

Слабохарактерная женщина (покоренная Олиной простотой). Шо ж это за баба такая, которая с квартиры сгоняет? Та вы плюньте на эту бабу, деточки. Поищите квартирку хорошенько, вот и найдете. Вы ж молодые, вам немного надо. Человек ко всему привыкает. Сейчас много квартир сдают: с газом, с водичкой сдают, со всем сдают. Галю! Та иди ж сюда, здесь ребятки квартиру ищут. У меня племянница тоже ищет жильцов...

Кривое пространство медленно распрямляется, и Сеня лучистым, немного заискивающим взглядом встречает предполагаемую племянницу, Конопатую девку с очистками семечек на оттопыренной губе.
"Прежде всего надо выжить, для этого требуются уступки, которые окупятся потом, в другой, нормальной жизни".

Сеня. Здравствуйте! ("Кажется, я научился выживать, капуста старуха просчиталась").

Конопатая девка. Ты чего, ма, рехнулась? С ребенком в ихнюю квартиру! Цпок-тьфу. Цпок-тьфу! (Сплевывает шелуху прямо Сене на грудь, не отворачиваясь.)

Слабохарактерная женщина. А шо, Галю, ей не взять с ребенком? Почему ж не взять с ребеночком? Дом у них большой, на всех места хватит...

Конопатая девка (с юмором кивает Сене на мать). Совсем рехнутая! (Крутит коротким толстым пальцем у прыщеватого виска, но глаза ее при этом ничего не выражают и остаются безжизненными.) Не разоряйся, ма. У Софьи Федоровны одних гарнитуров тыщи на четыре, она таких на километр к дому не подпустит.

Сеня (повторяет недавнюю Олину ошибку: еще надеется, потому что счастье было близко, но руки уже дрожат. Привыкнув к дурной кривизне, в такой идиотической прямолинейности он ориентируется плохо). Вы не судите по внешности, девушка, мы хорошие жильцы.

Оля. По одежке встречают, по уму провожают.

Сеня (с сожалением оглядывается на нее). Вот-вот. Мы просто слишком долго были под дождем.

Конопатая девка (с отсутствующим видом продолжает лущить семечки). Софья Федоровна с такими и разговаривать не захочет. Они весь палас ей засрут. А то неизвестно, какая у них

жена. (В упор смотрит белесыми глазами на Олю.) Может, жена грязнуля, весь дом пленка-ми провоняет.

Сеня. ("Откуда эта жизненная прочность? Ей всего лет семнадцать. Какое разнообразие живучих структур, и только мы по злобному стечению обстоятельств не попали ни в одну"). Жена у меня чистоплотная, вот увидите. (С надеждой смотрит на Олю.) Мы аккуратные люди, студенты.

Слабохарактерная женщина. Видишь, Галю, и жена у них чистоплотная...

Конопатая девка. Мало ты образованных видела! Цпок-тьфу, цпок-тьфу, цпок-тьфу! Забыла, Пал Иваныч рассказывал, как у них в техникуме унитаза засраты?

Сеня (руки ходят ходуном, сознание затуманено до отсутствия всякого напора). Спасительница, дитя вопиет в утробе матери, не погубите! Не откажите в единственной милости, ибо сил больше нет! (Бухается в ноги, оборачивается и подзывает Олю.) Ты тоже, тоже давай!

Внимательно глядит на поникшую брюхатую жену, запах гниющих помоев из подворотни довершает картину, и Сеня вдруг понимает, что его монолог произнесен плохо, что он как актер неискренен, ибо качество жизни на самом деле (и это ему заранее известно) не будет зависеть от того, найдут они квартиру или нет, что это не временное состояние мира, а внутреннее Сенино отношение к нему, его личный вкус к жизни, и что с таким плохим вкусом, пожалуй, действительно не стоит жить, это у него просто не получится ("так вот что узнала старуха!"). Если одинаково не нравится ни так ни эдак, кто же сдает ему квартиру? И зачем? Чтобы он меньше ходил под дождем и больше думал, накапливая отвращение к своим благодетелям? "Ребята, ребята, все отлично. Жизнь — хорошая штука! Давайте договоримся". Так и договоримся! Ему облегчают путь туда, где ничего не нужно. Старуха указала путь, а все другие подталкивают. Жизни достойны лишь те, кто находит интерес и удовольствие в самом ее неопытном процессе, кому нравится воровать, плевать, лгать, мучить, убивать, кто не очистился еще для жизни. Если философствование, как нас учили, было предисторией действия, то нынешнее действие — это тоже предистория, кошмарная предистория жизни, слишком много в нем нелепостей, бедствий и горя: что же это за реальность, ВСЯКИЕ МЫСЛИ О КОТОРОЙ СТРАШНЫ ДЛЯ НЕЕ ЖЕ САМОЙ? Это еще не жизнь, во всяком случае не человеческая жизнь, и может ли быть в ней легко человеку?..

Лукавый с подбитым глазом (появляется внезапно, точно из преисподней, и произносит заклинание из трех древнейших слов). Ука! Ять! Хер! О чем шумим?

Конопатая девка (Сене). Чего пристаешь? Чего ты пристаешь, холера? Пошли отсюда, ма.

Слабохарактерная женщина. А может, дать им адрес, Галю? (Нерешительно идет след за дочерью.)

Сеня. Сделайте одолжение! (Порывается за ней.)

Слабохарактерная женщина. Та вы поищите, молодой человек. Может, чего и найдете: с ванночкой, с газом сдают, со всем сдают. А тут и вам нехорошо будет.



Сеня. Благодетельница, дитя во чреве...
Лукавый с подбитым глазом (ударивает Сеню за рукав). Милостивый государь!

Сеня. Чего тебе, сволочь?

Лукавый с подбитым глазом. Па-азвольте, милостивый государь, один вопросик. Вы, часом, не служили на тихоокеанском крейсере "Варяг" в памятную кампанию русско-японской войны? Отчего-то ваше лицо мне показалось знакомо. Хочу напомнить вам одну занятную историю из офицерской жизни...

Сеня бьет его по лицу ослабевшей рукой.

Лукавый с подбитым глазом. Помогите! (Бросается к первому встречному, которому оказывается Хромой ветеран.) Защитите меня, господин!..

Стоп! Вернемся немного назад.

Лукавый с подбитым глазом. Я действительно служил на флоте. Вот мои якоря. (Закатывает рукав резинового плаща, надетого прямо на голое тело, и показывает татуировку.)

Сеня. Ну и что?

Лукавый с подбитым глазом. А то, что вы не хотите понимать людей, молодой чело-

век. Вам нужен один большой порядок и чтобы никто никого не хватал за рукав. А жизнь — она сложная штука. В ней часто приходится хватать за рукав. Иначе не проживешь. Вот я... иэх... фр! фр! В шесть лет остался круглым сиротой. Тятка партизанил, его немцы повесили, а маманя с голоду... Иэх-хо-хо... (Утирается резиновым рукавом.) И что бы вы думали? Совсем чужие люди поставили на ноги! Да и сам я был не промах. Баб у меня перебивало... Ух! Что ни день, то свежая баба, а то и девка. Вот так-то! Люди всегда помогут. А вы сразу — по лицу...

Стоп! Опять соскочило.

Сеня. Чего тебе, сволочь? ("Почему это к бедствующим людям пристает всякое отребье?")

Лукавый с подбитым глазом. Пойдем, я тебе объясню.

Сеня (от усталости становится резким). Пойдем! (Тянет Лукавого в ту же сторону, куда тот только что хотел вести его самого.)

Лукавый с подбитым глазом. Ты че... че, парень? Ты не суетись, че суетиться-то? Успею я тебя отъездить, понял? Ну че хватаешь!

Сеня. Вы мне хотели что-то объяснить.

Старческое брюзжание из подворотни:
"Вы мне!.. Объяснить!.. Полыснуть бы тебя"

из пулемета, разучился бы умными словами разговаривать".

Лукавый с подбитым глазом (*нагледя*). А что, думаешь, не объясню? Щас объясню! (*Засучивает рукав и резко вскидывает руку — всего лишь для того, чтобы почесать в затылке. Затем наклоняется к Сениному уху и таинственно шепчет.*) Ты фашист, понял? (*Деревянно распрямляется и подбоченивается.*)

Сеня. Почему?

Лукавый с подбитым глазом. Потому что не уважаешь. Человек к тебе со всей душой, а ты, гад, его тащить, да? За воротник да по морде, да?

Прохожие задерживаются, образуя кружок. В подворотне показывается Хромой ветеран, внимательно прислушивается к разговору, за его спиной оживают преступные тени.

Сеня (*его тошнит от подступающего страха*). Оставьте меня. (*Мечется, но круг безмолвно сомкнут, все становится угрожающе-призрачным, и только беспомощная Оля маячит где-то в стороне кусочком теплой плоти.*)

Лукавый с подбитым глазом. Это как "оставьте", а? Сначала приставал к женщинам, а теперь "оставьте"? (*Он делает беспокойные жесты, пытаясь сохранить равновесие. Хор почтиительно внимает, благоговейным шепотом передавая из уст в уста его слова и беспощадно взирая на Сеню.*) Вы видели, как он приставал к женщинам?

Хромой ветеран. Я давно за ним наблюдаю, он безобразит с самого утра. Никакой управы на них не стало. (*Осторожно приближается, выставляя вперед клюшку.*)

Лукавый с подбитым глазом. Слышишь? Я могу тебя, п-падно... Могу на три года посадить. (*Взмахивает рукой и вновь теряет равновесие, но удерживается на ногах. Вздых облегчения в Хоре.*) Только не хочу. Не хочу себя марать. (*Хор разделяет презрение и гнев.*) А ты чего волком смотришь, а? Ты, парень, на людей так не смотри, без людей не проживешь. Жись всякая бывает, чего только в ней не натерпелся, но надо, чтобы рядом всегда были кореша. Ты запутался, парень, послушай меня. Кореша — первое дело, за ними не пропадешь. П-понял?

Хромой ветеран (*визжит*). Сдайте его в милицию!

Лукавый с подбитым глазом. Я так и сделаю, папаша. Если он не извинится, я так и сделаю. А как только извинится, тогда — все! Даже не прибью.

Оля (*жалобно*). Отпустите нас, дяденька, мы ищем квартиру!

Лукавый с подбитым глазом. Все! Квартира — это все! Надо было раньше сказать, у меня же есть квартира. Пустая квартира, две комнаты, кухня, газ, телефон...

Оля (*робко*). А горячая вода есть?

Лукавый с подбитым глазом. Горячая вода — из всех кранов, девушка! Пардон... (*Запахивает резиновый плащ на голом теле.*) Вы такая милая девушка, вам сдаю почти даром. Четыре комнаты, газ, туалет...

Оля (*съезжившись*). Сеня, ты слышишь?

Лукавый с подбитым глазом. Слышишь, Сеня? (*Ударяет его по плечу и долго после этого ищет равновесие.*) Я чувствую, Сеня, мы с тобой будем друзьями. Верешь ли, девушка, я сразу увидел, что твой Сеня мне друг. Только надо верить в людей, Сеня.

Вера в людей! Вера в людей!

Славное наше ору-жи-е...

Оля (*радостно*). Идемте же быстрее смотреть квартиру!

Лукавый с подбитым глазом (*медленно поворачивается к ней на негнущихся ногах, как будто что-то вспоминая*). Э-э... Пардон, девушка, деньги вперед. Для такой милой девушки — пятьдесят рублей. (*Пытается ее поцеловать.*)

Сеня — что делать! — бьет его ослабевшей рукой.

Хромой ветеран (*который только этого и ждал*). Держите бандита! Милиция! (*Больно ударяет клюшкой Олю и тут же отбегает в подворотню. Оля плачет.*) Милиция!..

Вокруг беснуется Нечисть.

Добротно одетая женщина. Перестаньте визжать, Хромой ветеран! Как вам не стыдно, старый солдат! А ты зачем, глупая девочка, затесалась в эту компанию? Ты же погубишь ребенка, тебе пора в родильный дом! Ничего вы, молодые, не соображаете...

Хромой ветеран. Молчи, паскуда!

Лукавый с подбитым глазом (*иронически*). Чего тебе, чего? Ты что, не видишь, мы хулигана ловим? Я сам десять лет работаю в милиции...

Добротно одетая женщина. Вижу! Я все вижу. Это у вас плохо со зрением. (*Показывает красную книжечку.*) Десятки новых корпусов построены в центре нашего города, красивые микрорайоны широкими зелеными проспектами украсили окраины. Тысячи людей отдают свои силы благоустройству, вдохновленные знаменательным событием — новым трудовым подъемом. А в это время кучка отщепенцев...

Нечисть сжимается и заползает в подворотню.

Лукавый с подбитым глазом

и Хромой ветеран в меру своих возможностей вытягиваются по стойке "смирно".

Толпа постепенно растворяется в воздухе.

В промежуточном состоянии задерживается похожий на белое облачко Седой старичок.

Седой старичок (*очень громко*). Наше Василисе Петровне!

Добротно одетая женщина (*кокетничая в руководящем стиле*). Здравствуйте, Федор Федотыч! Как вы живы-здоровы?

Седой старичок. А?

Добротно одетая женщина (*сокращая улыбку*). Здоровье как, говорю?

Седой старичок. Чего?

Лукавый с подбитым глазом. Оне спрашивают, жив ли ты, божий одуванчик.

Хромой ветеран (*раздраженно*). Глухая тетеря!

Седой старичок. Ага! Видел, видел...

Добротно одетая женщина. Ну, слава богу. Хотя нынче так и не говорят, но я вам скажу по старинке: слава богу! Значит, живы-здоровы.

Седой старичок. Да уж...

Добротно одетая женщина. Здоровье — это главное! Все остальное — дело наживное, хи-хи! Видите, как складно получилось. Это оттого, Федор Федотыч, что душа поет! Все время с массажами, все время на людях. (*Горделиво выпячивает массивную грудь.*) А люди нынче совсем не те, что были раньше. Их беспокоят государственные проблемы. Они подсказывают, где у нас неиспользованные резервы, как можно сэкономить материалы, электроэнергию, повысить производительность труда. Такие сложные проблемы, что самой иной раз стыдно: ничего не понимаю, хи-хи-хи! Но люди к тебе идут со своими заботами, и ты должна помогать. Целый день с народом, так устаю, сил нет!

Оля (*тихо*). Помогите нам, тетенька!

Добротно одетая женщина. А как ваша внучка, внучка-то как? Уж такая была девочка, такая крохотуленька, я просто наглядеться не могла! У-тю-тю-тю...

Оля. Тетенька...

Добротно одетая женщина (*строго*). Разве ты не знаешь, будущая мать, что старших перебивать нельзя?

Оля. Тетенька, нас бьют! (*Плачет.*)

Добротно одетая женщина. Ничего подобного! Никто вас не бьет. Не надо придумывать несбылицы, будущая мать! Я была здесь и все видела.

Оля (*горько плачет*). Мы и... искали квартиру... А как... к нам пристал вот он... И все они...

Добротно одетая женщина. Не смеете лгать! Уважаемые люди города — Хромой ветеран, Лукавый с подбитым глазом — пытались вас остановить, объясняли правила советского общежития, но вы плюете на наши законы! Наверное, вам больше по нраву дикие порядки Запада? Вы уже не первый раз кричите о квартире, мы знаем, кому это на руку! В нашем городе ежегодно строятся сотни квартир, десятки башенных кранов стрелами поднялись в небо, широкие строительные площадки украсили окраины. А какой вклад внесли в общее дело вы? Вместо того чтобы работать или учиться, вы толчетесь в подворотнях и скандалите! (*Солидно.*) Я женщина и не могу позволить себе некоторые выражения, но я очень хорошо понимаю чувства товарища Хромого ветерана...

Хромой ветеран (*услужливо*). Я им все объяснил!

Добротно одетая женщина (*не обращаясь*). ...когда он видит избалованную молодежь, которая не только совесть — мать родную за трипку продаст! Мать продаст за штаны! (*Раздраженно осматривает свою туфлю сначала от носка к каблучку, а потом от каблучка к носку.*) Всех готовы перешеголять, сынок какой-нибудь тети Маши одевается так, будто мама у него министр. Что я после этого своим детям скажу? Где набраться денег на кожу, джинсы и золото? А все начинается с необоснованных требований...

Сеня. Вы подзабыли роль, сейчас идет сцена "В подворотне".

Добротно одетая женщина. Вы кому такие слова говорите? Вы мне говорите? Ну знаете...

Хромой ветеран (*сигналист клюшкой*). Товарищ сержант, подойдите сюда!

Лукавый с подбитым глазом (*торопливо отбегает на три шага*). С-спасение утопающих — дело рук с-саих утопающих...

Седой старичок (*сокрушенно*). Он просто слишком молод...

Добротно одетая женщина (*надменно поворачивается к нему*). Да, вы правы. А вашу внученьку я помню, как же, помню. Она малюсенькая была, когда я в последний раз ее видела, все чего-то лопотала, малышка, глазки бегают: у-тю-тю!..

Снова беснуется всякая Нечисть. Хромой ветеран, а за ним Лукавый с подбитым глазом присоединяются к Добротно одетой женщине, нетвердо маршируют и поют:
Мы будем петь и смеяться, как дети!..

Стоп!

"Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать; но к тебе очи наши!"

Теперь-то все сказано, или опять соскочило?

"Сколько себя ни помню, все мне приходится куда-то шагать и шагать", — думал Сеня, ничего не чувствуя, кроме одеревенелых ступней и сжигаемого голодом желудка. Самочувствие Оли не поддается описанию, с какого-то момента даже туфли и те стали снашиваться у нее совсем с другой стороны.

"Зачем шагает человек? Стоило бы, кажется, ненадолго остановиться, и мысли осядут, зрение прояснится, освобождая сознание от долгой муки незавершенности и темноты. Жизнь похожа на скучную книгу без конца, который мог бы придать разрозненным главам хоть какой-то смысл и вознаградить раздраженное неясными посулами воображение, — но последние страницы давно оторваны и выброшены, и фактический конец ошеломляюще прост: запятая, полслова — а дальше ничего, пустота... Надо не идти, а думать. Кто даст нам остановиться?.."

Подъезд, разбитое стекло, окуроченная щель, измазанная белой краской лампочка на потолке, гремящие перила, сухая липкость шершавой стены, обжитая до черноты дверь. "Извините, вы не сдаете комнату? А не знаете, кто в этом доме сдает? Да, нам нужно прямо сейчас, некуда пойти... Что? Но мы... Вы не имеете права!" Негодяй, какой негодяй... "Извините!" — "Гав!" — "Извините, вы квартиру..." — "Гав! Гав!" Еще одна кнопка в засаленном окружье стены. А за дверью — черноглазая красавица в ярком кимоно, розы, бархатный свет и даже, кажется, шум прибора, но тут же — темнота, щелчок замка, прощальная волна запахов жареного кофе и французских духов.

На лестнице в мутном столбе света четверо играют в карты. "Американская по два рубля идет, понял?" — "Козел, ты же ему подмастил!" — "Оп-па!" — "Заткнись, я сам по два рубля продавал. Э? Ты чего тут ходишь?" — "Сява, дай ему в лоб!" — "Сява, только брюхатую не тронь, а то еще разродится!" — "Ха!"

— "Фью-ить!" Страх до помертвения членов — страх неизвестно перед чем. Сердчишко предательски холодеет и падает, и шади еще Оля тихонько кулачком в спину, шепчет: "Проходи, проходи!" — пройду, неужели с мальчишками связываться, хотя такая злоба, что, кажется, растер бы их на ступеньке каблук, такая беспомощная трусливая злоба! Так-то все преступления, наверно, и совершаются, потому что злобы через край. А ведь каждый встречный, в сущности, неповинен. Лестничные ангелочки, ночные лохматики, студенистые мокрицы, все вы невинны, твари, это Бог вас такими создал, — только за что же меня-то он сделал другим?..

Лестничный пролет без ограждения, широкий, какие бываю в домах старой постройки. Этажом ниже — просвеченное голой электрической лампочкой облако пыли, еще ниже — темень и полная неизвестность. "Так доступно и легко, что замирает дыхание: тугая струя воздуха, прохлада, мгновенная боль — и все. А главное, хочется независимо от муки этой жизни, просто хочется испытать. Так ведь и было задумано, чтобы нас всегда звало место, куда мы медленно, мучительно идем."

Звонок, цепочка, острый взгляд из полутемной прихожей.

— А это, милая, на чердак полезайте, там слева будет ниша, вот в этой нише она и живет. У ней всегда кто-нибудь квартирует. Уж не знаю, вас она возьмет или кто другой у нее на примете, только последний жилец как раз утром съехал. Наверх, наверх, милая, в нише ее и найдете.

Топ-топ-топ — бесчувственными ногами по лестнице, зайчик надежды в Олиных глазах, последняя вспышка истлевшего фитилька, только Сене все равно, потому что он сейчас решил: перед черной дырой становится безразлично, как тут живет, хорошо или плохо, там исчезает смысл любых внешних поводов, остается лишь выбор да холодок желания. Перед ней, перед дырой, человек чист и свободен, как ребенок, как еще не родившийся, где-то на грани рождения. "Утешения от смерти ждет лишь тот, кто еще надеется вернуться обратно, там же вопрос какого бы то ни было утешения отпадает. Кто ищет благ, хотя бы даже фактом своей смерти надеется что-то изменить к лучшему, тот никогда в нее, дыру, не попадет."

— Здравствуй, здравствуй! Это кто же вас ко мне послал? (Площадкой ниже — напряженное сопение в щелочку двери.) Ну-ко отвечайте, ироды, кто надоумил вас сюда подняться, какая гадина, шкура свиньячья думает, что в моей нише много места? Подите прочь! Никого не пушу! — Вопли ухают один за другим в лестничный колодец, отзываясь шорохом настороженно замершей жизни. — С топором встану, не пушу! Зовите управдома, я и управдома зарублю! Зарублю!..

— Поостерегись, Максимовна, на тебя тоже найдется управа! — голос снизу. — Нечего больной-то прикидываться, мы себе почище справки достанем! Мы все в психушках лежали! Нечего на нервах-то играть! Отымут, Максимовна, отымут у тебя нишу! А саму тебя в клетку посадят и по уликам станут возить!

— Ааа-ииии!.. — страшный вопль в каменном мешке, обозначающий в фильмах ужасов злодейство мирового масштаба, и до безумия явствен-

ный звон топора, покотившегося по бетонным ступеням. — Аааа-ииии!

"Почему так не хочется умирать, когда нависает топор? Зачем я бегу, если только что хотел в дыру? Разве не все равно? Выходит, и в самом последнем шаге нас привлекает лишь красивый жест, псевдожертвенный порыв, вся та обрядовая дребедень, что намертво привязывает тщеславного человека к жизни, а вовсе не конечный результат. Выходит, конец с дырой — гнуснейший из концов, не оставляющий возможности раскаяться и додумать свою мысль. Закончить мысль во что бы то ни стало, с топором завоевать себе пространство и время для мысли!"

— Что ты, глупая, в меня вцепилась, думаешь, тут сумасшедшие? Здесь никого нет безумнее нас, растерявших жизненные силы! Каждый здравомыслящий охраняет свой мир топором!

"Ты захотела прожить за чужой счет, поставила меня перед невыносимыми испытаниями — теперь не смей отступать! Придется и тебе вложить энергию не в пустоту, как прежде, где она закручивается дьявольскими вихрями и затем обрушивается на меня же, но в завоевание нашего пространства. Придется тебе стать моим топором. Кто усомнился в моей силе? Пока я ненавижу эту жизнь — я сумею ею распорядиться. Кто в этом хаосе осмелится противостоять моему личному миротворчеству?"

— Подожди, нас рассудит народ...

"Народ? Эй, народ, идите сюда, я вас буду судить! Я, такой, какой есть, без угла, без корешей, без денег. Сегодня все вы передо мной прошли: ни по отдельности, ни все вместе вы не достойны владеть ни одной чужой жизнью! Надо было долго пробить с вами лицом к лицу, испытывая страх и помрачение, чтобы наконец понять простую вещь: что право на мою жизнь, на мою волю, на мои запутанные мысли принадлежит одному только мне и ни один из вас не смеет вторгаться в мой закон!"

— Смирр-на!

Ирр-на!.. Ир-на!.. Ир-на!.. рна!.. а!..

Надреснутым чугуном загудели перила от комендантского шага. Выстроился на лестнице почетный караул. Разводящая старуха с топором наизготовку, страшная своей пустоглазой преданностью. За ней черная дыра по стойке "смирно", потому что и дыра теперь знает, что с нею разговор короткий: манила, сволочь! Думала порадовать капустных слизняков, которые сразу сползутся, плохо скрывая облегчение за притворными вздохами: "Не жилец он был, ох не жилец!" — лишнее для них подтверждение, что жизнью владеет их студенистое племя, а не те, кто с рождения тоскует от запаха гнили... Мимо! Четыре маленьких картежника, черными тенями вмазанные в стену за тусклым облачком известковой пыли. Колода старых карт, предельно высеченная с удаленной резкостью, как будто увиденная в перевернутую подзорную трубу. Нога едва дотягивается в эту оптическую глубину — "Долой!" — и четыре маленьких картежника одними лишь глазами, как и положено по уставу, печально провожают в темноту мерцающую тусклым глянецом россыпь. Собака с радостным урчанием лижет руки. Распахнута дверь в бархатную прихожую, на пороге красавица в кимоно предлагает чашечку кофе с духами...

"Но это бессмыслица — кофе с духами!"

— Хватит нюнить, сегодня не довелось — завтра найдем квартиру. — Так пыхла Оля на втором дыхании, простодушно покровительствуя Сене, — инстинктивный порыв женщины, берущей на себя ради сохранения жизненного начала элементарную мировую ответственность. — Вот окончишь институт, станешь дипломированным специалистом, придешь на производство, хорошо себя зарекомендуешь, заслужишь уважение товарищей и доверие руководства — тогда будет другой разговор. Тогда все у нас появится. Все! И гарнитуры, и хрусталь, и детская кроватка. А нашей девочке мы купим сапожки, лакированные зеленые сапожки с меховой опушкой, я сама о таких мечтала в детстве — ладно, милый? Ох-ай-ай-ай!.. Куда несешься, как нахлестанный мерин, дай передохнуть... Милый (только ты не ругайся), давай купим ей также капроновую курточку? Они ведь такие практичные, и от дождя спасают и от ветра, им износу нет. Розовую, ладно? И розовое покрывальце на кроватку. А сейчас не на кого обижаться, мы еще не заслужили. Сразу чтобы и ребенок, и жена, и квартира — чего захотел! Посмотри, сколько строят. Десятки новых корпусов стрелами уходят в небо. Красивые микрорайоны с широкими зелеными лужайками... А-аа! Ох, ох, дай мне руку, раззява, я же зацепилась. Когда ваши жены рожают, все вы, мужики, в кусты. Куда ты меня завел?

Оля это была, другая ли женщина, а то и не женщина вовсе — для Сени не имело уже никакого значения. Он теперь наверняка знал, что именно это существо представляет гнилую сердцевину жизни и именно с нее должно начаться творческое преобразование, "ибо все мировое зло очеловечено; в каком это расказе сумасшедший придумал, что мировое зло сосредоточено в цветке? — оно всегда очеловечено!"

— Кто разрешил тебе цепляться за проволоку? Ты хочешь, чтобы я снова почувствовал себя беспомощным и до смертельной усталости разгибал покореженные тобой железки? Встать! Мы уже дома.

По особенной вольготности ветра, по далекому свету окон здесь угадывался пустырь. Шуршала мертвыми метелками невидимая в темноте трава, и собственный голос казался одичалым и невозможно громким.

— Тебе не нравится твой дом? Но разве не ты усыпала эту землю камнями, изрыла канавами и натолкла здесь стекла?

— Сеня, милый, пойдём к бабе Вале, попросимся еще на одну ночьку, а завтра со свежими силами...

— Замолчи! Тебе бы только пожирать мои силы! — Сеня пугался своего голоса и вовсе не был уверен, что говорит именно то, что надо говорить. Его угнетала какая-то неосознанная тревога — будто он потерял нечто важное, а что — сам еще не знает, или ушел из дома и забыл выключить утюг, но ведь дома у него пока, слава Богу, нет... — Неужели ты думаешь, что я женился на тебе по любви? Нет, я сделал это для себя, чтобы изменить плохой мир и утвердить свою волю! Сейчас тебе было бы лучше, если бы я погиб. Ты уже пользовалась мной, потеряла меня, ты тоже из породы червей и насекомых, которые по глазам угадывают нежизнеспособных. Не выйдет! Я сотворю тебя преображенной, радующей глаз. Вот здесь твой дом. Забудь про бабу Валю. Раздевайся и ложись.

Он подошел и толкнул ее на кучу железного хлама — и хотя сделал это непривычной к насилью, слабой рукой, Оля сразу повалилась. А он вошел в кровожадный азарт: придавил ее, стонущую, к острым выступам и стал раздевать — с единственной целью: уложить спать на пустыре. Но от прикосновения к Олиной коже, от нахлынувших запахов женского тела мучившая Сени неопределенность исчезла: он вспомнил, что на плече у него есть маленький фурункул, болезненный гнойничок, который он заметил только сегодня утром и собирался выдавить, когда они найдут квартиру (уединившись где-нибудь в ванной или в туалете, в тепле, перед зеркалом), когда фурункул созреет... Сеня надавил на свое плечо и почувствовал далеко уходящую корнями в тело боль. Он передохнул и надавил еще раз. Оле как раз удалось вывернуться, она столкнула его, притихшего, с живота и с тихими стонами поправляла одежду. А Сеня поднялся и пошел, спотыкаясь о кирпичи, звеня железом и запутываясь в проволоке, потому что было темно, а однажды запнулся и упал, и ничто под ним не загремело, земля оказалась рыхлой, сырой и прохладной. Вокруг пустынно шелестели камышинки, невидимо существуя в ночи. Сеня вспомнил про фурункул и сдернул, не поднимаясь с земли, с плеча одежду: сначала расстегнул плащ, потом пиджак, потом рванул рубашку не расстегивая — уж очень хотелось поскорее до него добраться, чтобы сразу облегчиться. И вот нащупал твердый шарик в мякоти кожи, сдавил между пальцами, наслаждаясь, не торопясь, нажал посильнее, царапнул ногтем... Но желанного высвобождения не произошло, только усилилась боль да выступила кровянистая влага. Он с досадой натянул одежду, подбирая плечо к подбородку, как женщина, когда ее целуют, и от этого мелькнувшего в голове сравнения появилось новое желание, до того сильное, что вспотели ладони. Он вспомнил, как присаживалась Оля у насыпи, вспомнил недавнее прикосновение к ее мягкому животу и запахи, впился ногтями в землю, приник, зажмурил глаза...

Произошло то, чего с ним долго уже не происходило, действительно снявшее все смутные желания и тревоги, но и не оставившее после себя ничего. "Господи, как не хочется жить", — устало думал Сеня, расprostертый в сырости. Медленно возвращался внешний облик и смысл вещей, померещилось Олино лицо в темноте, и он представил до мелочей, что говорил ей, как толкнул, как навалился на живот. "Вот уж теперь-то жить никак нельзя, ведь самый дрянной, преступный, бессмысленный сгусток сущего — это я. Кругом был не прав, а создавал видимость мировой неправоты. Вздумал переделывать жизнь по своим внутренним законам, но мои законы непонятны и страшны даже мне самому. Как же могут примириться с этими законами другие? Кто защитит от них эту слабенькую, глупую, ничтожную, ненавистную Олю? И куда деваться мне от ненависти? Нет больше никаких сил существовать в этой осклизлой темноте наедине со своим бессмысленным злом".

КТО МЫ, ОТКУДА, КУДА ИДЕМ И ПОЧЕМУ, И ПОЧЕМУ, И ПОЧЕМУ?..

Подборка
оформлена
работами
Павла ФИЛОНОВА



в порядке бреда



Виктор КЛЕЙМЕНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-УКАЗ



О наращивании дальнейших мер борьбы с "прострелами", "колами в спинах" и застуживаниями "по-женски" при обязательном хождении населения массаами в условиях ледовитых смерчей без колготок (в пинетках)

Признано неотъемлемым, чтобы было всегда так, как того и требуют и время и минута.

Вместе с тем именно сейчас, как никогда потом, нужны люди, люди, люди и люди. Больше будет людей — значит, больше будет и Больших Людей, больше понимающих, что есть на свете Большое, а чего уже нет больше.

Вместе с тем как можно мириться с тем, что разбазаривание лицами — любителями поживиться — видится не как раз и навсегда наболевшее попустительство, но коренным образом как дутое неблагополучие.

Признано также неотъемлемым предметнее будить как суть, так и сущность имеющего место на местах развенчания тех мест в психологии лиц, повторно или в течение года пользовавшихся спросом у населения, о которых и ранее говорилось, и далее будет говориться, ярче копать.

В связи с этим недопустимы такие виды ущерба, как огромный нравственный, культурный, моральный, духовный ущербы и общий невосполнимый ущерб.

Вместе с тем в целях во все более больших и высших формах наращивания органами радио, органами "по интересам", массовыми опорными точками и других видов гостеприимства видится и далее шире привлекать тысячи конкретных носителей зла к решению вопиющих безобразий в целом за истекший немалый уже период времени.

Признано также неотъемлемым признание факта констатации о переходе в основном к сегодняшнему

климату современности и большой готовности к переводу рельсов на курс в завтра.

В связи с этим заострено на все еще не изжитой тенденции к вялости, краковяку, чехарде критериев в тех регионах, где профилактике борьбы с негативной психологией очернительства в сфере быта, семьи, развлечений, труда, разврата и отдыха приданы максимум сил и рвения, но в не для многих удобные дни суток.

Отмечено, что подчеркнуть о многом, нависшем как реальная угроза чуждым нам сознанию и подсознанию, представилось бы конкретным только в плане гарантий по восполнению потерь в братских нам сознании и подсознании. Иной уровень усилий в этом деле вряд ли будет рекомендован как явно целесообразный.

В связи с этим постановляется: рекомендовать обязать принять реальные меры по конкретным работам в части предметного выявления конкретики реалей момента истинного разреза, но не в плане чураться, а по итогам шестого вопроса подпункта ввиду из ряда вон непростых усилий, в ослаблении которых ни вширь, ни вглубь, ни на перспективу до 3007 года никто не сомневается. Этого не будет.

Владимир КАНТОР

ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ

Из цикла "Сны"



Я у железных решетчатых ворот. Уже арестован, но в своей пока одежде, в штатской, а не в

арестантской. Меня уже допрашивали, дело на меня завели: что в своих рассказах на начальство клевету. Но в камеру еще не отправили и выпустили вроде бы погулять. Охранник увел куда-то. Я его жду, с судьбой смирился: ничего другого пишущему ждать у нас не приходится. Хожу по двору.

Вдруг у ворот с той стороны — жена, Марина. Лицо бледное, решительное, губы сжаты. Кивает глазами: мол, подойди, но меня не узнавай. Подхожу. "Прижмись к воротам", — шепчет. Я на секунду прижимаюсь, она тоже. И сует мне ключ в карман пиджака. Отходит от ворот, но недалеко. Я озираюсь — никого кругом. Будто нарочно все ушли. На небо как бы между прочим смотрю: ясное небо, сухая осень. Быстро пихаю ключ в замок, поворачиваю его, к своему удивлению, без скрипа. Открыл. Ключ опять в карман прячу. И тихо, несильно одну створку ворот приотворяю, щелочку делаю, как раз чтоб проскользнуть. Она ко мне. Запереть снова не можем, ворота изнутри отпираются, но прикрываем их так, будто они на запоре. Но что дальше?

Она, освободительница, подруга, впиивается мне в руку, почти неживая от счастья удачи. Но что тем не менее дальше? Перед нами шоссе пустыр, вроде как конечная автобуса. Но остановки нет. Шоссе какое-то бесконечное, вдаль уходит. А по бокам поля пустыне. "Я сюда на попутном грузовике доехала", — она объясняет. Да, ногами здесь не дойдешь. Враз заметят. Вдруг из подъезда тюремного здания позалили люди: курьерши, секретарши, машинистки, делопроизводители, много женщин и мало мужчин. Кончился рабочий день, догадываюсь. К ним откуда ни возьмись подъезжает автобус, над стеклом надпись — "Служебный". И отчаянная Марина решается. Крепко держа меня за руку, чтоб не исчез, не потерялся, она подходит к людям, и, сливаясь с толпой, мы вдруг залезаем в автобус.

На нас не обращают внимания. Мало ли новеньких тут! Даже на сиденье удалось усесться, не впереди, конечно, но где-то на третье или четвертое. Оно и лучше — среди тюремных служителей как бы затерялись. Они ведь тоже в приватной одежде, не в казенной. Разговаривая об отдельных делах, о том, что Спиридон Петрович не сумел сладить с какой-то Наташкой: то ли она не дала, то ли у него не получилось. Но все были уверены, что он мужик упорный — добьется. Потом поговорили о заказах, что давали: кофе растворимый за шесть рублей, сыр, пшено, сухой кисель. "Я все взяла — пригодится", — говорит одна. "Правильно, — отвечает вторая, — в другой раз и этого не будет".

Мы с Мариной переглядываемся: значит, у них тоже все в дефиците. И еще радуемся, что далеко уже уехали: вон вдали дома видны, город скоро. Автобус останавливается у моста. Шофер к нам вдруг голову поворачивает, говорит: "Вам сходить. Дальше везти вас не могу. Дальше сами как уместе". Марина деньги достает. "Да вы что!" — восклицает шофер и дверь открывает. Мы выходим, автобус уезжает, пассажиры не обращают на нас внимания, словно мы там и не находились только что. И не поймем, кто кого обманул — мы КГБ или КГБ нас. Сочувствует шофер беглецам или органами подослан? А может, мы друг друга не поняли? Он в слова самый обыкновенный смысл вкладывал, куда-то в особое место своих пассажиров вез, где они все

кучно живут?.. Но чужаков-то он в нас признал, а все же в автобус впустил и потом выпустил... Может, не зря мы в его словах о с о б о б ы й смысл уловили?..

Но куда идти? Домой нельзя, там ждать могут. А Марине еще на работу надо, вечером лекции, пропустить невозможно — уволят. Как она без службы в наше страшное время жить будет? Но и меня она боится одного отпустить. Договариваемся, что я поеду к родителям. Там вроде бы искать не должны. Даже когда меня б р а л и, туда ни разу не зашли. Там она меня и найдет после работы. Расстаемся.

Вот я уже у родителей. Однако радости не вижу на их лицах. Только испуг. В прихожей держат. На табуретку у зеркала посадили, сами передо мной стоят — мать у кухонной двери, отец у входа в комнату. "Ведь тебя арестовали!" Объясняю, что Марина помогла бежать. Лица их стали еще встревоженнее. В тридцатые-сороковые вырастали. Все по закону привыкли делать. И за меня беспокоятся. "Что она наделала! Она тебя что, погубить хочет? Без мужика потерпеть дня не может!.. Куда ты пойдешь? Где скрываться будешь? И как? Ведь не умеешь..." И понимаю: нигде, никак, не умею. "Ведь теперь тебе только увеличат наказание". Я испуган. Сызнова вспоминаю слова шофера. Может, проверка была, провокация?.. Уж слишком, в самом деле, все легко получилось. Как теперь я оправдаюсь? Ворота были открыты, и я вышел? Мне резонно возразят, что я знал, что выходить нельзя. Как же быть? "Теперь не оправдаешься", — говорят в тревоге, чувствуя мое смятение, родители. А бежать дальше действительно не могу: не знаю, как и куда.

И до возвращения Марины с работы иду сдаваться, придумывая себе детские оправдания. А о том, что ключ в кармане у меня остался, совсем забыл.

Александр ФИЛОНОВ

СЕМЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ПЯТНИЦ

Но в понедельник — уже не боялись. В понедельник — оглушенные, невыспавшиеся, красные глаза — бросались в работу. Понедельник — день трудный, тяжелый день, но... Работали. Волю в кулак, нервы в тугой узел. Работать — надо. Надо — работать. Труд — благо общества. Отпускало понемиго. Забывались. Расходились по домам — измотанные, опустошенные. Отсыпались.

Вторник, среда — дни сквозные, ритмические, цельные. Не думали: работали. Четко, мерно — маятник. Ели, спали, совокуплялись. Все — крепко, цельно, со вкусом. Толкались в транспорте, локтем в бок соседу.

Засыпали в среду. Просыпались — четверг. Червячком поведилось. Начинали нервничать. Ритм убыстрялся. Влихивали локотью мысли в работу. К концу дня уставали, но не успокаивались. Шли на улицу, в ливаны. Спорили, обсуждали все подряд — от футбола до производственных нормативов. Главной темы не касались. Пиво пили до одури, до отупения, до пузырьковой пульсации в тяжелом, отекающем от избытка



жидкости теле. Прятали беспокойство. Расползались по домам. Совокуплялись яростно, приговоренно. Спали: тяжелый храп, булькающее дрожжевым испарением горло. Задыхаясь, металась в постели. Завтра была пятница.

Вешали по пятницам. День-то ведь все равно пропащий, перед субботой. Толклись на работе — не работали. После обеда собирались на площади. Степенные, неторопливые. Вели разговоры, беседовали: о семье, о погоде, о здоровье. Делились последними новостями. Планами на будущее. Главной темы не касались. На дне зрачков плескался ужас. Ждали начала.

Рабочие неторопливо убирали фанерные щиты, ограждавшие с о о р у ж е н и е , зажигали факелы. Выходили палач и судебные исполнители. Давали знак.

Тогда начинали голосить — как привыкли, как заведено. Голосили громко, но без надрыва: церемония только начиналась, сэкономили голос. Четко, мерно, привычно. Но обыденность отступала. Жизнь обретала значение. Загадывали про себя, волновались. Внутренне готовились.

Голосовали — за справедливость, за демократию: благо общества. Проголосовав, принимали к исполнению. Начинаясь процедура. Сперва объявляли: ч и с л о . Точное, проверенное и перепроверенное учеными-статистиками. Число

жителей должно было оставаться неизменным. Потом называли профессии: стабилизация рабочих мест. Торжественно, под напором тысяч глаз вводили поисковые шупы в картотеку. Справедливо, демократично, научно обоснованно. Извлекали карточки: фамилия, имя, профессия. Исполнители входили в толпу. Искали быстро, профессионально. Каждый замирал: ждали. Прощались про себя. Надеялись: мимо. Имена избранных узнавали, когда тех выводили на помост. Выводили под руки — обмякших, как тюфяки. Поздравляли, жали им руки. Мэр говорил прочувствованную речь. Те не понимали. Когда они — ч и с л о — стояли на помосте, оставшиеся расслаблялись. Выпускали из легких стиснутый воздух, голосили.

Потом шел акт. Если — редко — число было ноль, акт совершали над вынесенными на площадь тюфяками, набитыми соломой. Для соблюдения и в назидание. Один раз притащили манекен из витрины магазина готового платья. Но манекен был деревянный: не то.

Живой человек — другое дело. Когда петля затягивается, человек начинает извиваться телом и дрыгать конечностями. Сорвавшихся от рынков — перевешивают. Потом человек дергаться перестает, обвисает: не человек — тюфяк. И сразу ясно: что — человек? Тряпка, набитая соломой. Благо общества превыше.

И тогда голосили бесконтрольно, в полный голос. Орала так, что надрывали связки, и до понедельника разговаривали хриплым шепотом. Выплескивали из души илистую муть, что скопилась за неделю, освобождались от страхов и переживаний, от нерешенных проблем и забот. Оплакивали себя — не тех. Тех — не людей — уже снимали, укладывали на дроги. Тюфяки с соломой. Люди — голосили. Освобождались. Успокаивались. После, умиротворенные, расходились по домам.

Но некоторые помнили: человек — единица, тюфяк.

Вешали по пятницам.

По субботам травились, топились и вешались.

В воскресенье четко, деловито, размеренно хоронили. Аккуратно сжигали. Пепел разводили в воде, сливали в канализацию. Четко, мерно.

Вечером шли на футбол.

А ночью, до самого утра понедельника, в смятых, пропитанных потом постелях, случалось, творили зачатья. Рождение людей — благо общества.

И вновь ждали пятницы.

Анна КАРЕТНИКОВА

СКВОЗЬ ГАЛАКТИКУ

Как раз в это время ко всем нашим бедам добавилась еще одна, не главная, — сталидохнуть мыши. Умирать. Мы находили их утром у поилки, всегда на рассвете — одну или две мертвые мыши. Мышей было жалко. Становилось понятно, что дальше так жить нельзя... Надо было начинать все сначала.

Зимой снега не было. Дождь и иногда холодный северный ветер. Грязь. Мы узнали, что спасение — в любви. Нас раскидало по затерянным городам, стоянкам, мы получили различное социаль-



ное происхождение, политические убеждения, национальность, веру, род занятий. Мы не знали ни адресов, ни имен. В пятницу, часам к семнадцати, мы наконец преодолели все препятствия и встретились. Мы любили друг друга как могли.

В следующий вторник мы нашли на рассвете еще двух мертвых мышей. Мы задумались.

Хлеб в магазинах еще был, но, кроме него, ничего не было. Мы отказались и от хлеба, чтобы он достался им. На мышей хлеба пока хватало, но они умирали все равно.

На этот раз мы написали картину. Это была самая большая картина, самая красивая. Они не спорили, что это лучшая картина. На ней оказалось все, но тем не менее это была очень красивая картина.

Сначала она была им не нужна. Стояла в подвале. Потом не осталось ни одного, кто не смотрел бы на нее много раз, потому что это была самая красивая картина, на которой было все, они не могли не видеть этого. Потом картину продали. Было жаль, но мы видели — они хотят есть, а это была очень

дорогая картина. Конечно, ведь на ней было все, когда они ее продали. Мы могли нарисовать им другую, но умерла еще мышь, и надо было работать.

Мы работали столько, насколько хватало сил, мы работали лучше всех и мы были всюду. Так, как работали мы, не работал еще никто. Мы создали им столько, сколько у них никогда не было, и мы не взяли ничего взамен. И они, глядя на нас, хотели работать так, как мы. Они видели, что мы работаем как надо. Мы были правы. Мы знали: теперь у них будет все.

Когда через много лет мы закончили работу, у них не оказалось ничего.

Этой зимой на асфальте был только мокрый песок. Хлеба стало не хватать.

Мы взяли в руки плакат и вышли на площадь. Это был самый смелый плакат, самый честный, мы написали на нем все что знаем. Мы знали, на что идем. Мы подняли над площадью плакат выше всех. Они смотрели на нас, а двое встали рядом с нами. Нас задержали.

Через много лет пыток, допросов, расстрелов, этапов, лагерей мы снова встретились здесь. За одним столом с нами сидели наши дети. Откуда-то они узнали, что спасение — в любви. Мыши умирали.

Мы поняли, что смысл — в творчестве. Каждый из нас стал писать книгу. Через несколько лет оказалось, что все мы пишем одну книгу. Мы закончили ее вместе.

Это была самая лучшая книга. В ней были мы, и в ней была вся жизнь.

Книгу опубликовали не здесь. Потом — здесь, и они прочли ее много раз. Мы были правы. Они понимали, что это лучшая книга, и стали ждать, когда мы напишем для них новую, еще лучше. Но мы не могли написать другой, поскольку вся жизнь уже была в этой книге. Ее переиздали большим тиражом. Еще две мыши умерло.

Зимы не было вообще. Из ссылки и лагерей вернулись наши дети, но не стали писать книгу. Они были старше нас.

Потом один спросил, почему нет хлеба. Мы сказали ему, где взять хлеб. В субботу, в 21.00, по всем каналам телевидения в прямом эфире он предпочел для них свободу.

Хлеба не хватало уже и на мышей. Мы боялись, что умрут все.

После этого мы вышли на улицы. Мы создали для них движение милосердия, тысячи организаций за демократию и столько же обществ за возрождение. В городах стали стрелять. Мы указали путь и пошли вперед с каждым флагом. Когда они победили, мы вернулись сюда.

В среду вечером они пришли, сели и сказали, что мыши едят хлеб. Что разносчики инфекции — мыши. Мышей надо убить. Мы ответили, что не надо. Что они уже ничего не едят. Что мыши все равно скоро умрут.

Мы были правы. Они встали и ушли.

Нам оставалась вера. Мы верили и молились за них несколько лет. Наконец в воскресенье один идиот при пульте нажал кнопку, и все к чертовой матери взлетело на воздух. Стало значительно легче. Не осталось ничего.

Когда дым рассеялся, я вернулась сюда. Мышей пока не было, но хлеба в магазинах на всех начало не хватать. Наступила зима. Становилось понятно, что дальше так жить нельзя. Надо было начинать все сначала.

ОТЩЕПЕНЕЦ



Пушкин... Какое русское ухо не навострится при звуке этого священного имени?

Нет такого уха.

Гоголь... Какой русский глаз не блеснет от этого магического слова?

Нет такого глаза.

Достоевский... Какая русская душа не задохнется от одного только воспоминания о нем?

Нет такой души.

Толстой... Какое русское сердце не забьется ускоренно при встрече с графом?

Нет такого сердца.

Блок... Какой русский мозг не держит в памяти его серебряные строфы?

Нет такого мозга.

Чаадаев... Какая русская бровь не поползет вверх, услыша его пленительную речь?

Нет такой брови.

Лермонтов... Какое русское горло не сдавит спазм восторга при его упоминании?

Нет такого горла.

Марина Цветаева... Какие русские православные губы не задрожат при мысли о ней?

Нет таких губ.

Булгаков и Зощенко... Какие русские щеки не затрясутся от неудержимого смеха и брызг?

Нет таких щек.

Державин... Какая русская грудь не закричит от гордости при звоне этого хрустального сосуда?

Нет такой груди.

Чехов... Какой русский лоб не затоскует, не съжится при свисте этой сокровенной флейты?

Нет такого русского лба.

Великая русская литература... Какой русский хуй не встанет со своего места под музыку этого национального гимна?

Есть один такой хуй. Мы встанем, а он не встанет. Мы все встанем, кроме него. Одинокий, жалкий, занедуживший хуишко. Но если его приласкать, если по-человечески к нему отнестись, он тоже встанет.



ИСПРАВЛЕНИЕ ИМЕН

Марк ХАРИТОНОВ

Самые важные слова мы часто произносим, как бы не осознавая их смысла, как бы скользя по поверхности. И вдруг обнаруживаем, что это искажает саму нашу жизнь. Недавно оказалось, например, что целые поколения терпели невзгоды, убивали и гибли сами во имя социализма, весьма туманно представляя себе, что это слово, собственно, означает. Попытка осмыслить его обернулась потрясением основ привычного существования.

Когда-то китайский мудрец Конфуций создал целое учение об исправлении имен, то есть о правильном назывании вещей, которое раскрывает их истинную суть. Без этого нам суждено блуждать по жизни, не понимая ее, лишь смутно чувствуя, как ускользает от нас, словно тающее сновидение, что-то главное и подлинное в ней.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДЫ

— Зачем мы так вслушиваемся в голоса западных радиостанций сквозь унизительное глушение? — спросил я как-то приятеля в начале 70-х годов. — Зачем ищем что-то между строк в пустых газетах — как будто давно уже не решили для себя, что существенное в нашей жизни от этого не должно зависеть?

— Информация дает свободу, — ответил приятель.

И я подумал: в самом деле, жить в потемках, ориентируясь на ошупь или вовсе боясь пошевеливаться, значит жить в несвободе и страхе. Отсюда стремление подменить действительность, неадекватные реакции.

"Мы живем, под собою не чуя страны" — формула этой несвободы.

Мне вспомнился разговор на пристани в Белозерске с пьяненьким мужичком. Он только что освободился из лагеря в Шексне, разминувшись с женой и ждал ее с теплоходом. Дело было в августе 1968 года, числа 15-го, и этот недавний зэк, начитавшийся газет или наслушавшийся в лагере политинформаций, объяснял мне, почему в Чехословакию надо ввести войска. "Я хочу, чтобы моя дочка могла свободно ездить туда по путевке". Поразительный довод! (Дочка однажды там уже побывала, он этим гордился и хотел гордиться впредь). Ему, в рабстве воспитанному, в голову не приходила возможность ездить действительно

свободно, без всяких путевок и виз в свободную, не подневольную страну.

А летом 1974 года Владимир Дремлюга, только что отбывший срок за демонстрацию 1968 года и удрученный надзором (гэбэшники однажды увели его прямо с пляжа, где мы загорали, явились на эту операцию зачем-то в плавающих и даже с ластами в руках — для маскировки), сказал мне: "Такое чувство, что из малой зоны вышел в большую". Это было уже в ту пору едва ли не общее место: не свободен запертый в тесном карцере, не свободен и лагерник в зоне, не свободен отпущенный в ссылку, не свободен отбывший ее, не свободен лишенный возможности выехать из своей страны. А свободен ли выехавший?

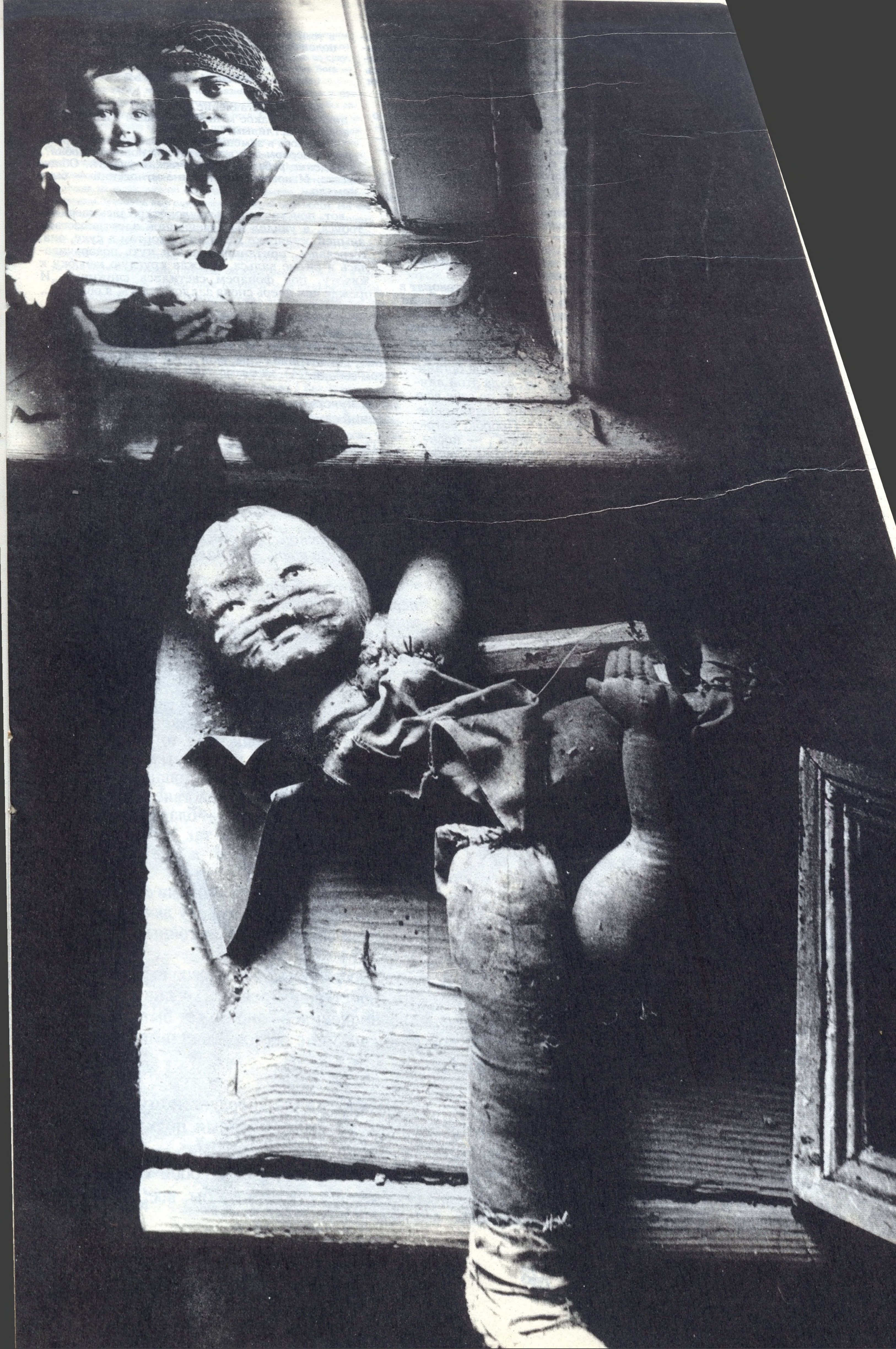
Мы включены во множество структур, навязанных нам насильственно или от рождения, но не выбранных нами, мы опутаны множеством отношений и зависимостей добровольных и недобровольных: мы связаны с другими людьми, с народом и его обычаями, с государством и его законами, мы вынуждены служить в армиях и участвовать в войнах, навязанных нам.

— Свобода — это неучастие в делах мира, — услышал я однажды от философа В.Библера. — Едва я ввязываюсь в эти дела, я теряю свободу.

Свободным от ненависти может быть человек, возвысившийся до любви, а может быть — просто равнодушный; свободным от суеты и страстей может быть возвысившийся до святости, а может быть — просто вялый душой. Эта грань очень важна.

В годы, когда я на эти темы беседовал и размышлял, многие из нас склонны были гордиться сохраненной или выработанной внутренней, "тайной" свободой. Врать вслух уже все-таки не особенно нуждались, на людях можно было помалкивать, от пакостей уклоняться; а свободно мы говорили между собой на прославленных кухнях, свободно мы писали в стол. Это был не худший случай: мы отказывались от карьеры, от процветания, иногда и рисковали, одни больше, другие меньше. Но не стоило бы этим особенно гордиться. "Внутренняя свобода... — привычное вранье, — прочел я недавно у философа А.Пятигорского. — Так врут холопы, получившие временно поблажку от своих господ".





И мне вспомнился афоризм Чаадаева: "Горе народу, если рабство не смогло его унижить, такой народ создан, чтобы быть рабом". Это можно применить и к отдельному человеку. Нам не хотелось признавать себя униженными, изнасилованными — мы тешили себя тем, что свободны внутренне.

Однако А.Пятигорский отвергает "вранье" о внутренней свободе с других, более общих позиций. "Полнота жизни исключает свободу... — продолжает он, — биография уничтожает свободу, всякое следование себе искажает свободу".

Видимо, тут пора договориться о понятиях, отделить хотя бы свободу от своеволия — тогда обретут смысл вопросы: свободен ли следующий своему внутреннему голосу? чувству предопределения? сознанию, что тобой руководит некая высшая сила?

Лучшее определение внутренней свободы я встретил у Н.Я.Мандельштам:

"Внутренняя свобода, о которой часто говорят в применении к поэтам, это не просто свобода воли или свобода выбора, а нечто иное. Парадоксальность внутренней свободы состоит в том, что она зависит от идеи, которой она подчиняется, и от глубины этого подчинения. Я привожу слова Мандельштама о том же Чаадаеве: "Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и в награду за абсолютное подчинение подарила ей абсолютную свободу". Пророк, которому сказано: "Исполни волею моею", — носитель этой абсолютной внутренней свободы. Точно так Франк говорил, что, только служа Богу и подчиняясь ему, человек находит сам себя и осуществляет свою свободу: сохранит душу только тот, кто ее потерял".

Как убого в сравнении с этим знаменитое: "Свобода есть познанная необходимость"! Познанной необходимостью была попытка Мандельштама написать оду Сталину — ради спасения жизни; внутренняя свобода сопротивлялась этой попытке — и обрекла ее на неудачу.

(Впрочем, подумал вдруг я, разве не подчинены были целиком светлой идее иные самоотверженные и безжалостные деятели нашей революции? Очевидно, дело еще в качестве "организующей идеи". Но сколько крови пролили искреннейшие служители разных богов!)

Подлинно свободными в наших условиях были все-таки не кухонные вольнодумцы, а те, кого внутренний императив подвиг на поступки самоотверженные, порой гибельные, связанные с утратой внешней свободы. И впрямь парадокс: свободным оказывается тот, кто действительно не мог иначе.

Последнее время я с особой заинтересованностью пытался понять, почему О.Мандельштам отказался от возможности эмигрировать еще в самом начале 20-х годов. Ведь он, пишет Надежда Яковлевна, даже начал хлопотать, собрал какие-то бумаги. "Но потом раздумал: ведь уйти от своей судьбы все равно нельзя и не надо даже пытаться".

Что это значит? Разве не свободны мы в выборе своей участи — по крайней мере в таком выборе? В каком смысле можно говорить здесь о выборе и предопределении, о свободе и подчиненности идее? Н.Я.Мандельштам настаивает: "Сила Мандельштама в сознании своей внутренней свободы,

в том, что он свободно принимает свой жребий и полон благодарности за все дарованное ему".

УРОКИ СЧАСТЬЯ

"Ваше представление о счастье? — спрашивает анкета. — Какое мгновение вашей жизни вы назовете счастливым?"

Пытаюсь в замешательстве вспомнить, перебираю в первом для всех ряду. Мгновения любви?.. Рождение ребенка?.. Творческая удача?.. Общие места. Мгновений — именно мгновений — было немало...

вот, почему-то мелькнуло: открылась дверь автобуса, я увидел на освещенной электричеством зимней остановке женщину с тортом в руке, она, согреваясь, пританцовывала и чуть поворачивалась в ритме вальса, прижав круглую коробку к животу, под фонарем светились снежинки. И прежде чем дверь снова захлопнулась, я ощутил...

или утром — проснулся еще в предрассветных сумерках, за открытым окном щебечут птицы, рядом спит жена, за стеной в разных комнатах сопят, досматривая сны, мои дети, посвистывает носом собака.

Я чувствую, что искать надо здесь, среди прозрений самой обычной жизни.

Поразительней всего это сделал в любимом мною стихотворении Пастернак. Там человека привезли в больницу, видимо, с инфарктом, и он, приготовившись умирать, глядит на освещенную закатом стену:

*О господи, как совершенны
Дела твои, — думал больной...*

Поразительно это тем более, что, по рассказам переживших инфаркт, это состояние бывает связано с чувством тоски и страха, чувством физиологическим, неподвластным контролю воли и разума, возможно, обусловленным выделением каких-то веществ.

Но, видимо, и физиология не так уж независима от нашей духовной сути — я верю герою пастернаковского стихотворения, как верю самому Пастернаку, который описывал то же чувство в письме из больницы: "В промежутках между потерей сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство!.. "Господи, — шептал я, — благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими..." И я ликовал и плакал от счастья".

Чтение Пастернака дарит уроками счастья. Это чувство открывается по ту сторону любых страданий и горестей способным и достойным его ощутить.

А в чем достоинство? В способности прежде всего. Это свойство внутреннее, сродни религиозному мироощущению — оно может быть как будто вовсе не связано с обстоятельствами внешней жизни.

Попробуй объясни жизнерадостному обрубку на инвалидной тележке, который подкатывает к пивной, скрежеща подшипниками, — попробуй объясни ему, почему кончает с собой блестящая кинозвезда, имеющая, казалось бы, все: здоровое

тело, жизненные блага, деньги, успех, любовников, золотой унитаз в стокомнатном дворце. Трудно понять, что на любых ступеньках житейской лестницы возможна та же тоска, что способность к счастью зависит от чего-то другого.

Один мой герой написал целый трактат, объясняя, что яблочко, надкушенное прародителями нашими в раю, заразило их оскоминой скуки. Она, скука, и заставляла их бежать от блаженства — неизвестно к чему, главное — от чего; а это-то именно и добивался Творец: ему нужно было, чтоб кто-то поддерживал движение, энергию замышленного им.

Что ж, будем считать, что способность к счастью в самом деле больше определяется внутренними человеческими свойствами, нежели внешним совпадением. Конечно, совпадение желательно; неблагоприятные условия любого могут перемолоть, они не дают осуществиться способностям...да что говорить. Но есть люди, предрасположенные к счастью по самому своему устройству. "Счастливым по природе при всяческой погоде", — как сказал о себе поэт. Таких счастливых лучше искать среди художников, среди музыкантов-исполнителей. Имеющему дело со словом, с человеческими глубинами это дается трудней.

Возможно, одна из самых благих задач литературы — напоминать и объяснять человеку, что у других не лучше. У всех так, и вам даже спокойнее.

Лучше всего сейчас вам, вот именно вам, если у вас не болят зубы, если вы не беретесь себя ни с кем сравнивать, никому завидовать. Вкусней всех вин холодная вода из ручья, когда очень хочется пить. Или рюмка водки с черным хлебушком да с луковкой в компании желанных друзей (особенно когда придешь с мороза). Кто испытывал, согласится. Ах, если б только это было возможно не на краткий миг, а постоянно!..

Высшие мгновения жизни бывают невыносимы, их проще вспоминать, чем переживать. Возможна ли постоянная молния, непрерывная проясненность?

И еще вопрос: считать ли способность к счастью, жизни безмятежной, в согласии с собой и миром нормой, как норма, например, здоровье по сравнению с болезнью? Ведь и здоровье, телесное или душевное, в жизни реальной скорее исключение; здесь все полно неустройства; жаждущие любви мужчины и женщины бродят по не пересекающимся тропкам, не умея найти друг друга, а если находят — глядишь, и это обернется потом похмельным раскаянием. И куда деваться в конце концов от смерти, предваряемой страданием? А великое искусство, великая духовная жизнь, дающие нас самыми глубокими переживаниями, — возможны ли они без знания трагического?

На свете счастья нет, а есть покой и воля...

Покой — суррогат счастья, воля — отнюдь не свобода (в конечном счете мучительная), а скорей освобождение от необходимости выбирать, решать, бороться: тот же покой.

Да, пожалуй, и здесь надо сперва определить понятия. Ведь и Пастернак оговаривается: "Счастья без подвига нет". Упомянутому моему герою, понявшему, как мудро природа или Господь позаботились о совершенствовании рода людского, устроив так, что человеку мешает быть счастливым скука благополучного однообразия, пришло однажды в го-

лову и другое: наверное, правильно было бы обеспечить счастье непритязательному большинству, которое его жаждет и к нему склонно. Но принадлежность высшего дара — внутреннее беспокойство и устремленность; они не дают счастья, хотя нужны для общего родового существования. Может быть, гениальная глубина дается как компенсация за обделенность природным счастьем.

Простодушная же удовлетворенность отсутствие этого дара компенсирует. Правда, соответствие дается не всегда, тогда возникают честолюбивые недоумки, несчастные графоманы или же ленивые, не проявившие себя таланты.

"Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?" — спросил однажды жену О.Мандельштам. И она задумалась: "Кто знает, что такое счастье? Полнота и насыщенность жизни, пожалуй, более конкретное понятие, чем пресловутое счастье".

Впрочем, так ли нам ясно, что такое эта насыщенность и полнота?

Одно дело — не знать о предвечном трагизме бытия или, зная, уклоняться от соприкосновения с ним (как уклоняешься от визита к больным и несчастным знакомым, предпочитая знаясь лишь со здоровыми и благополучными), другое — пробиться к постижению счастья через трагическое знание. И когда нам внятней голос вечности: в миг осуществления, взлета, долгожданного события, любовного соединения? или потом, когда мы обнаруживаем, что жизнь продолжает идти своим чередом и от твоего короткого торжества в ней едва ли что изменилось? Закончен труд, отгремели аплодисменты, иссякло желание, прошел твой день — пройдет и твоя жизнь. Мертва и бескрайняя пустыня вселенной, и все, что ты мог сделать, — это добавить частичку своей жизни, духовной энергии для поддержания ее общего тепла.

"СОН ПРИ СВЕТЕ СОЛНЦА" (Роберт Музиль и Борис Пастернак)

Они скорей всего не читали друг друга: тем удивительней наблюдать, как оба, каждый своим путем, побивались, в сущности, к одному и тому же.

"Любовь, дети, прекрасные дни, веселое общество, путешествия и немного искусства — хорошая жизнь ведь так проста", — размышляет Агата в романе Музиля "Человек без свойств". Но она сама "видела в ней обман. Считающаяся полноценной жизнь на самом деле бессмысленна; в конечном счете, то есть в буквальном смысле в конце ее, перед смертью, ей всегда чего-то недостает. Она... как нагромождение вещей, не приведенное в порядок никакой высшей потребностью: не наполненная при всей своей полноте, противоположная простоте... Она — как куча чужих детей... тебе не удастся увидеть среди них собственное дитя".

А вот пастернаковский доктор Живаго размышляет о своих друзьях, принадлежавших "к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы".

Я много раз упирался в этот пассаж с каким-то личным чувством. В чем отказывает доктор своим знакомым?

Он, воспевавший величие простых житейских ценностей и забот, чувствует здесь какую-то недостаточность, неподлинность — едва ли не в духе Агаты. Если их мыслители и музыка действительно хороши, при чем тут "бедствие среднего вкуса"? Герой Пастернака не противопоставляет им каких-то лучших мыслителей, лучшей музыки — он противопоставляет им почему-то себя.

Может быть, он не видел в их вкусах, а главное, в их жизни чего-то личного, своего, творческого — лишь потребление общепринятого? Это тоже как куча чужих детей, среди которых нет собственного.

Вяч. Вс. Иванов как-то процитировал мне слова Пастернака из письма, кажется, не опубликованного. Надо не любить Блока, таков их смысл, — надо быть Блоком.

Над этим стоит подумать.

Речь здесь идет о чувстве, что человеку все время дается, по словам Музиля, "лишь плохонький заменитель чего-то, что он утратил", о стремлении прорваться к какой-то высшей подлинности. "Чувства должны либо служить, либо принадлежать какому-то всеохватывающему, совсем еще не описанному состоянию".

Эту устремленность к "другому состоянию" (так формулирует проблему герой Музиля Ульрих) Пастернак с гениальной емкостью выразил в стихах:

*Мне хочется, как сон при свете солнца,
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.*

"И ничего больше? — восклицает Ульрих всего две страницы спустя после процитированного рассуждения. — Какая бесчеловечность!" Примечательная оговорка. Поиск такой — предельной — подлинности может обернуться невосприимчивостью к повседневной реальности, едва ли не отказом от жизни. "Это значило бы... примерно то же, что молчать, когда тебе не надо добиваться чего-то особенного; а самое важное — оставаться бесчувственным, когда у тебя нет несказанного чувства, что ты распротер руки и поднят волной творчества. Нетрудно заметить, что тем самым прекратилась бы большая часть нашей психической жизни, но ведь это, может быть, и не такая уж страшная беда", — тут же замечает герой Музиля и его alter ego.

В сфере литературной отталкивание от неподлинного, заемного, банального приводило этого писателя к болезненной невозможности выразить что-то невыразимое, по существу. Чтобы сообщить что-то другому, нужно найти слова, понятные этому другому, общие для многих, — значит, уже не совсем свои. Искусство обращено к другим и, значит, нуждается в понимании; элемент банального в нем уже поэтому неизбежен — оторваться от него совсем нельзя. "Чистейшая банальность всегда человечнее, чем новое открытие", — с усмешкой признавал Музиль и все же старался от этой банальности уходить. Отсюда постоянная горечь непонятости, отсюда многолетние счеты с великим современником Т. Манном, ухитрившимся сочетать высокий уровень с успехом в широких ("профессорских", как сказал бы доктор Живаго) кругах. Не Манна ли имел в виду музильевский герой, когда рассуждал о цене успеха? "... Для этой смеси существовала предпочтительная дозировка, сулившая в мире наибольший успех, маленькая, в обрез отмеренная добавка

суррогата — она только и придавала гению гениальность, а таланту внушающий надежду вид".

Очень похоже. Похоже, что и сам Т. Манн размышлял над этой проблемой — он ведь читал "Человека без свойств". И не Музиля ли, к тому времени уже покойного, он имел в виду, когда писал в "Докторе Фаустусе": "Для высокоодаренного художника проблема состоит в том, чтобы вопреки непрестанно прогрессирующей избалованности и нарастающему отвращению удержаться в пределах осуществимого". Кажется, что о Музиле. А композитор Леверкюн едва ли не цитирует его: "Пошлость, являющаяся несущей конструкцией, залогом прочности даже гениального произведения, тем, что делает его всеобщим достоянием, то есть явлением культуры..." Манновский герой тоже хотел уйти от этой пошлости к чистой гениальности, не считаясь с ценой.

В сущности, Музиль устремлялся туда же, только без всяких дьявольских штучек, не забывая об ответственности, осмотрительности. Потому и не мог дойти до конца. Он слишком чувствовал, что предельный отказ от всякой неподлинности, условности ведет к хаосу и, возможно, безумию, к финальному взвизгу и воплю леверкюновского роаяля.

Музиль, как и его герой, искал, в сущности, невозможного. Пожалуй, есть некоторая неточность в самом слове о "другом состоянии", в корне этого слова, предполагающего неподвижное, стоячее пребывание. Между тем "другое" — это именно процесс, непрерывный, бесконечный поиск, каким является, по сути, весь роман. Отличие автора от Ульриха, однако, в том, что он все-таки может предъявить этот роман миру в качестве вещественного результата.

Писателю дано выразить даже невыразимое, не формулируемое прямой мыслью. Свет можно видеть, можно быть источником света, но нельзя изобразить свет. Зато художнику дано нарисовать свечу или человеческое лицо, излучающее свет. В стремлении, "как сон при свете солнца, припомнить жизнь" Музиль говорит о чем угодно: о женских модах, о математике, о литературе, о военной службе, — и одновременно всегда о том же: "...о согласованности каждого сиюминутного состояния нашей жизни с каким-то длительным". Свет этого "другого состояния" сквозит во всем, но выражается в образах, подобиюх, сравнениях.

Вряд ли можно вполне адекватно понять Музиля (как невозможно быть в жизни такими же мудрыми, как его герои. Ведь они гениальней автора. То, что к автору приходило как озарение, обдумывалось годами, оттачивалось в черновиках, герои произносят экспромтом в попутном разговоре). Понимать его — значит переводить его образы на язык своей души, повторяя — только в обратном направлении — творческий процесс, в ходе которого автор сгущал, сводил воедино многолетние раздумья и смутные ощущения. И если наша мысль не во всем совпадает с авторской — тем лучше; главное, он поощрил нас на собственный поиск. Роман Музиля во многом — текст для медитации, которой мы сейчас, в сущности, занимаемся.

И все-таки — как беспомощно интеллектуальное рассуждение, как много тратится слов, как разветвляется мысль — и не объять необъятного. А всего-то надо было сказать то, что поэт уже сумел выразить в двух строчках:

*Мне хочется, как сон при свете солнца,
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.*

Юхан ЭБЕРГ,

главный редактор журнала "Урд ок бильд":

„ПОЛИТИКИ БОЯТСЯ, КОГДА ИХ РУГАЮТ“

В конце января 1991 года отдел культуры посольства Швеции организовал в Москве семинар, посвященный проблемам выживания культурных журналов в условиях рынка. С докладом на этом семинаре выступил главный редактор журнала "Урд ок бильд" ("Слово и образ") шведский писатель Юхан Эберг.

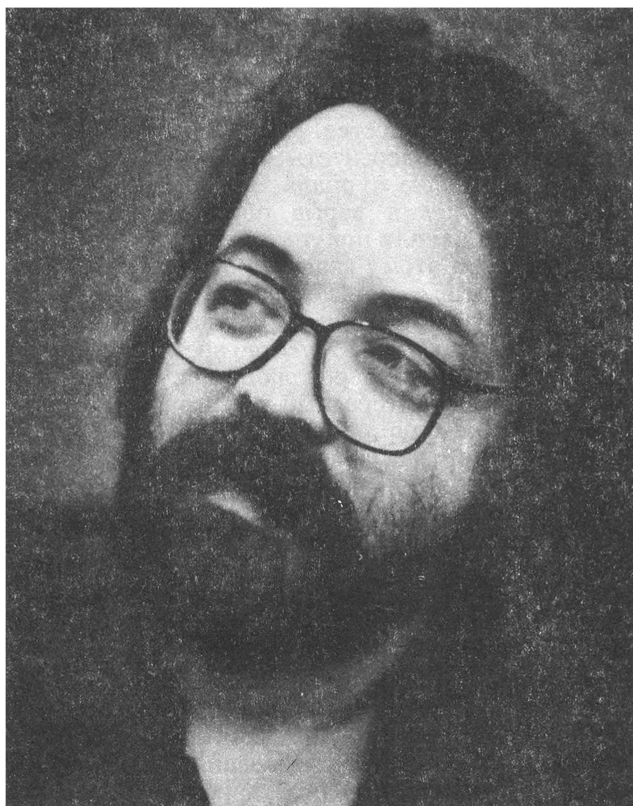
В ряду других изданий были приглашены на семинар и мы. Однако, готовя в то время к выходу в свет только первый номер "Странника", мы не могли должным образом воспринять ценный опыт столетнего шведского журнала и еще менее думали о его применении в своей практике.

За прошедший год многое изменилось. Мы приобрели кошмарный (иначе не скажешь) опыт ведения издательского дела в нашей стране в условиях дикого рынка при сохраняющейся монополии государственных структур. По счастью, в редакции осталась магнитофонная запись доклада Ю. Эберга. Прослушав его недавно еще раз, мы с изумлением обнаружили, что проблемы, с которыми сталкиваются культурные журналы в Швеции и у нас, при всей разнице условий и самих основ их существования, почти одни и те же. И это относится не только к издательской экономике и технологии, не только к производству журнала и его распространению, но и (может быть, даже в большей степени) к собственно журнальной культуре. Для чего существует во всех цивилизованных странах такой сложный организм, как литературный журнал? Как сохранить за этим организмом подобающее ему высокое место в иерархии любой культуры, оставив его при этом живым, здоровым и самобытным?.. Нам кажется, что доклад Юхана Эберга содержит важные сведения для тех, кто сегодня у нас всерьез занимается журналистикой и умеет чуть-чуть заглядывать вперед. И мы, получив согласие автора, охотно делимся этими сведениями с нашими коллегами.

Юхан Эберг говорил по-русски (он славист, переводивший на шведский язык, в частности, работы М. Бахтина), и мы постарались в письменном изложении сохранить интонацию его живой речи.

Наш журнал, которому уже сто лет, почти никогда не приносил прибыль, почти всегда был убыточным и всегда поддерживался разными кругами шведского общества.

Основала его в 1892 году в Стокгольме группа молодых либералов. Это было бурное время на издательском фронте в Швеции. В те годы у нас была очень богатая рабочая литература (шведские пролетарские писатели, надо сказать, не имеют ничего общего с советскими пролетарскими писателями). В то же время 90-е годы прошлого века характеризовались новой романтической волной в литературе и искусстве. Романтизм сочетался с интересом к новой французской психологии, к Достоевскому, к национальным вопросам. Ставились, как и сейчас, вопросы о различии



Юхан ЭБЕРГ

Фото Вячеслава ПОМИГАЛОВА

Скандинавии и Европы. Облик журнала "Урд ок бильд" тех лет, публиковавшего декадентов и левых писателей, совмещавшего в себе модерн и романтизм, можно отнести к стилю "вермишель", стилю лапши.

Всегдашняя отличительная черта нашего журнала — это высокий полиграфический уровень. Клише первое время готовились в Вене. Название "Слово и образ" должно было означать, что журнал является пунктом встречи двух искусств: изобразительного и словесного. Сейчас мне кажется, что главное в журнале все-таки слово. Что журнал должен был называться "Слово"...

Такой журнал был, конечно, достаточно дорогим, и только верхушка общества, так сказать, могла на него подписываться. Рентабельность

журнала всегда была большим вопросом для его издателей. Уже в первый год было создано гарантийное общество, члены которого добровольно отложили деньги на покрытие убытков. Это гарантийное общество существует до сих пор и продолжает помогать журналу. Первое время членами его были представители финансового мира, помещики, высокопоставленные чиновники.

Начиная с 30-х годов "Урд ок бильд" переживал упадок. Новые журналы, американская культура, кино — все это оставалось вне его поля зрения. Затем новая английская литература, литература модернизма, психоанализ. Все это как-то не интересовало тогдашних редакторов. Тираж уменьшался вплоть до конца 50-х годов, снизившись до тысячи экземпляров.

Что-то нужно было делать. И тогда был назначен новый редактор, чей приход означал победу модернизма в журнале. Это стало причиной конфликта между журналом и гарантийным обществом, однако в целом сказалось на судьбе журнала очень благоприятно. "Урд ок бильд" сумел уловить и те большие сдвиги, что происходили в то время в нашем обществе. Много студентов из низов пришло в университеты. Эта молодежь стала, так сказать, целью журнала. В Швеции, как и повсюду, происходил взрыв образования, самые разные люди начали покупать журнал, и он перестал благодаря этому зависеть от старых писателей и меценатов.

К 1968 году журнал стал ведущей силой левой интеллигенции страны. Чувство времени было такое: скоро свершится революция, и мы должны делать журнал, интересный тем людям, которые занимаются революцией. Старые читатели и традиционная критика очень волновались, считая журнал опасным и революционным. Однако сегодня, читая номера тех лет, думаешь, что он более отражал, чем действовал...

Итак, старая гвардия совсем покинула журнал. Тираж номера, посвященного сексу (по-моему, это как раз 1968 год), достиг 10 тысяч экземпляров! Это рекорд у нас.

Несмотря на такой тираж и на обновление гарантийного общества, журнал продолжал быть убыточным. Именно тогда Улоф Пальме, бывший в ту пору министром образования, предложил субсидировать журнал из государственной казны. Я не знаю сумму, которую тогда дали, но эти деньги положили начало государственной поддержке культурных журналов. Сейчас государство ежегодно выделяет шведским журналам около 20 миллионов крон (это примерно 3,4 миллиона долларов США). На эти деньги поддерживается примерно 300 шведских культурных журналов. Конечно, можно объяснить такое великодушие интересом социал-демократов*, их желанием влиять на прессу. В Швеции существует странный баланс: традиционно правительство — левое, а пресса — правая... Есть и другое соображение: все население Швеции меньше населения Москвы, а потому государство заинтересовано в поддержке языка, вообще национальной культуры, в обеспечении ее независимости.

Позитивный опыт сочетания литературы и политики вместе с возрастающими субсидиями породили ряд новых, более специализированных культурных журналов: для учителей, для врачей

В январе 1991 года у власти в Швеции стояли социал-демократы. — Ред.

и т.д. Еще одной причиной этого было то, что читатели 60-х, в основном студенты, сами старели и специализировались. Произошли серьезные перемены в политическом сознании интеллигенции. Зародилась новая интеллектуальная волна в связи с выходом книг, разоблачающих тоталитаризм. Велась дискуссия вокруг постмодернистских идей.

Наш журнал довольно долго оставался на старых позициях и не реагировал на происходящие изменения. Может быть, даже не хотел этого делать. А в результате в 80-е годы положение журнала снова ухудшилось. Не велась столь нужная у нас работа по завоеванию новых подписчиков. В Швеции считается, что любой журнал ежегодно теряет примерно 20 процентов подписчиков, и нужно вести очень напряженную работу, чтобы удержать эти 20 процентов, а уж тем более чтобы увеличить тираж.

Когда я начал год назад работать в журнале, мы продавали только 1500—1700 экземпляров. Бюджет журнала был около 550 тысяч шведских крон. Половина этой суммы — чистые убытки, покрываемые со стороны государства. Могу прибавить, что журнал к тому времени задолжал и существовала реальная перспектива его закрытия.

Мы все-таки решили реанимировать этот журнал еще раз. Начали с привлечения истории. Пришли к выводу, что старые жанры, построенные на сочетании литературы и живописи, "слова и образа", эссе и политики, — что это жанры, умирающие в Швеции, и их нужно оживить. Мы также проанализировали рыночную ситуацию и пришли к выводу, что она нами не исчерпана. Тут прочерчивались довольно сложные линии и в литературе, и в политике. Например, такой неосвоенный элемент рынка: печатать опусы, пусть даже слабые, которые пишут нигде не публиковавшиеся начинающие писатели.

Проблема еще в том, что в последние годы у нас шла определенная журналистская культурная и литературная материализация. Культура стала способом конкуренции для шведских газет. Они имеют возможность покупать статьи, поэзию и рассказы по довольно высоким ценам. Они посвящают культуре много страниц. Культура — это сейчас в Швеции модно. Я думаю, что это отчасти тоже реакция на Европу. Люди опасались: что будет, когда Швеция войдет в "Общий рынок"? Не будет ли наша культура тогда уничтожена?

Новые культурные журналы, у которых много денег, пытаются занять место "Урд ок бильд". Они там все точно знают, что они думают, и решительно защищают, так сказать, собственные позиции. Более короткие, чем у нас, выразительные статьи. В целом стиль напоминает американские журналы. Есть, конечно, издания и другого типа. Есть журнал, который подражает старому "Урд ок бильд": академичный, высококультурный, довольно красивый...

Для реанимации журнала нам нужны были большие деньги. Я один числился в штате, требовались еще люди. Кстати, мой оклад 9 тысяч шведских крон плюс бензин — это очень низкая зарплата у нас, просто ради смеха... Мы стали узнавать насчет новых субсидий. Оказалось, что в то время как раз готовился новый проект субсидирования журналов. Замысел такой: дать журналу сразу большую сумму, чтобы он распоря-

жался сам, а постоянную помощь прекратить. Нам обещают 2,5 миллиона шведских крон на пять лет, это довольно много. Они хотят посмотреть, как мы распорядимся этими деньгами, но больше уже ничего не дадут: не справились — умирайте. И мы пошли на это. Потому что мы рассчитываем, что, если мы сделаем интересный журнал, нам все-таки помогут, иначе их будут ругать. Эти политики боятся, когда их ругают. Но даже если мы не добьемся успеха, скажем, через год, у нас будет еще поддержка в виде процентов с капитала — это составит сумму, примерно равную прежним субсидиям. Так что пока, я думаю, мы обеспечены.

Сейчас мы начинаем работать в маркетинге. Меняем типографию, увеличиваем тираж и число страниц в журнале.

Еще два замечания. В Швеции есть фирмы, которые занимаются, так сказать, издательским администрированием. В памяти своих компьютеров они держат, например, всех подписчиков журнала, печатают наклейки на конверты, рассылают, принимают и обрабатывают почту, могут вести бухгалтерский учет. Работают они очень эффективно. Думаю, что информация о работе таких фирм была бы для вас полезна. Благодаря им редактору можно вообще освободиться от административной работы, что мне, например, очень дорого. Создаются эти конторы по инициативе Совета по культуре Швеции.

И второе. Год назад, когда наш журнал был в глубоком кризисе, мы перешли к новой технике, что сэкономило немало денег. На этой технике мы делаем бумажные оригиналы и затем переснимаем их с помощью обычного фотоаппарата, обходясь без офсетных пленок. Вначале все тексты забрасываются в компьютер и делается один большой документ в программе "Алдус пейдж мейкер". Тексты как будто живут на экране. Мы можем их переставлять, придавать им любую конфигурацию, выбирать шрифты. Если на странице надо поместить рисунок или фотографию, можно заранее освободить под них место, а затем требуемая иллюстрация вклеивается в бумажный оригинал. Редактор сам может макетировать страницы на экране и контролирует большую часть журнального производства. Думаю, что благодаря этой технике мы сэкономили около тысячи долларов на каждом номере. Теперь мы имеем возможность вновь перейти к офсетным пленкам и уже подобрали себе типографию...

Шведский Совет по культуре помогает журналам и в этой сфере. Он основывает так называемые журнальные ателье в разных городах страны. В этих "ателье" есть компьютеры, лазерные принтеры, программное обеспечение. Журналы объединяются и сообща пользуются всей этой техникой. Вы могли бы делать так же. Вообще Совет по культуре Швеции готов идти на контакты, это надо иметь в виду. Вместе можно было бы думать, как вам дешевле делать журналы, особенно теперь, когда государственные типографии идут в полный распад.

С конца 60-х годов наш журнал делает в основном тематические номера. Эта особенность позволяет каждому номеру жить долго. Например, на недавнем семинаре журналистов было распродано около 100 книжек журнала за 1974 год — выпуска, посвященного журналистике. Какое-то количество старых журналов всегда хранится на складе. Сейчас в каждом очередном выпуске мы даем

список старых номеров за сто лет издания, с обозначением тематики, все их можно заказать. Старые номера стоят дешево, и тем не менее для нас это экономически интересно.

Мы стараемся выбирать важные темы. В прошлом году половину первого номера посвятили Марине Цветаевой, получилось удачно. Там публиковались Ларс Клеберг, другие литературоведы. Второй номер — о положении в Европе после перемен. В нем печатались, в частности, московские писатели. Это были разные литературные, исторические, аналитические эссе о Европе. А завершало номер большое эссе о Дракуле как символе восточной опасности и о том, как цивилизация успешно борется с Дракулой. Третий номер был посвящен пародии. Четвертый — об интригах, конспирациях и параноях. Эта тема в Швеции вышла на первый план после убийства Улофа Пальме. У нас разыгрались скандалы, обнаружилось немало странных вещей и в полиции, и среди бюрократии... Было в этом номере и о том, что интриги и конспирации — это тоже своего рода творческий метод освоения действительности. Мафия как знание действительности...

В этом году тема, например, третьего номера — мораль, этика, гуманизм в 90-е годы. В Швеции все сейчас интересуются этикой, это последний крик моды. Мы хотим понять, что скрывается за этим интересом и вообще за этической позицией шведской интеллигенции в конце нашего века.

Четвертый номер будет предположительно посвящен романам о художниках. В его подготовке мы сотрудничаем со шведским журналом "Искусство". Сделаем большой красивый выпуск, начав, может быть, с "Жизни Бенвенуто Челлини": художник как отражение эпохи, выражающий страсти, которые не были, так сказать, разрешены в то время обычным людям... Мы вспомним о забытых романах. Это будет и литературоведческая задача — составить такой номер.

Это разговор о том, как мы хотим работать: брать важные общественные проблемы, отражать их художественно и давать новые точки зрения.

Временами в нашем журнале бывал такой тон, будто существует на все лишь одна точка зрения. Немножко элитарный тон. Очень трудно при такой репутации иметь дело с читателями. Многие перестали на нас подписываться именно потому, что решили, что этот журнал не для них: не для учителей, скажем, а для университетских кругов. Мы хотим вернуться к 60-м годам, когда номера были более общими, со многими, так сказать, входами...

Нужно думать стратегически. Мы сейчас по-прежнему выходим четыре раза в год. Может быть, лучше перейти к шести номерам в год и делать традиционный журнал, который сможет оперативно откликаться на текущие события? Но таких журналов много. Или умнее все-таки работать на вечность? Я не знаю. Мы этого еще не решились. Все будет зависеть от наших успехов.

КУЛЬТУРА ПО-ШВЕДСКИ И ПО-СОВЕТСКИ

Шведская инициатива не ограничилась вышеупомянутым семинаром. Совсем недавно, в декабре прошлого года, сотрудники четырех молодых отечественных журналов (в том числе и "Странника") были приглашены еще на один семинар — по журнальному производству при помощи компьютеров.

Целую неделю мы под руководством опытных наставников осваивали новейшие издательские компьютерные программы, работали на дорогостоящей технике. Нас даже кормили обедами. Все это совершенно бесплатно. Организовал и возглавил всю программу (которую язык не поворачивается назвать благотворительной, настолько это слово в постсоветском новоязе не сочетается с культурой) шведский писатель и литературовед Ларс Клеберг, советник по культуре посольства Швеции, а помогал ему сотрудник посольства Магнус Данберг. Непосредственно в классе работали с нами уже знакомый читателям Юхан Эберг, а также специалист по издательским комплексам Анна-София Квенсель и Пер Амбрусиани с кафедры славынских и балтийских языков Стокгольмского университета.

Поразительны энтузиазм и терпение шведских учителей, не пожалевших для нас драгоценного времени и труда. К концу рабочего дня, измученные нашей непонятливостью и вынужденные изъясняться на чужом для них языке, они выглядели просто изможденными, однако не утрачивали доброты и хорошего расположения духа. Мы, признаемся, уставали немногим меньше, но это была счастливая усталость. Атмосфера душевной теплоты и общего интереса, которой окружили нас эти люди, атмосфера праздника, не только не мешавшего напряженной продуктивной работе, но как бы неизбежно сопутствующего ей, это было что-то уже давно нами утраченное и забытое. Выходя из такой атмосферы в нашу жизнь, словно проваливаешься в прорубь. Магия европейского быта в данном случае ни при чем: семинар проходил в Москве, и шведские интеллигенты вместе с нами месили грязь на наших улицах и стояли в наших очередях. Дело совсем в другом.

Все это делалось с одной целью: научить нас выпускать журналы своими силами, максимально упрощая и удешевляя производство и в то же время улучшая полиграфическое качество, чтобы культурные издания могли если не приносить прибыль, то хотя бы прокормить сами себя. Маленькая, не слишком богатая Швеция нашла возможность поддержать не только свои культурные журналы, но и наши русские.

Мы пробовали макетировать свой "Странник" на компьютере. Получалось очень красиво. Мы действительно многому научились за эти дни и верим, что когда-нибудь полученные навыки удастся применить. Когда у редакции появится свое помещение, а в нем — персональный компьютер с лазерным принтером. Когда отечественный рынок будет предлагать издателям приличную бумагу по доступной цене ("Ваша бумага для нас была бы катастрофой", — обмолвился как-то в разговоре Юхан Эберг). Мы не иждивенцы, мы умеем работать и делаем все, чтобы приблизить это время.

Но шведский семинар научил нас большему. После него нам особенно хорошо стало видно, что культура не такая вещь, которой можно спекулировать, которую можно "открывать" или "закрывать", исходя из политических, экономических или иных корыстных соображений. Что внутри культуры нет иной субординации, иной шкалы ценностей кроме той, что выставляла она сама. Это переживалось нами, порой с грустным пониманием собственного несоответствия, в процессе общения со шведскими друзьями. И это бьет в глаза, когда обращаешься к отечественным распорядителям культурой.

Многие издания переживают сейчас трудные времена. Даже знаменитые толстые журналы не упускают возможности публично пожаловаться. Однако и по нынешним временам условия, в которых существует "Странник", исключительно тяжелы. У нас нет, повторим, никакой издательской техники и даже помещения для редакции. Мы не можем рассчитывать на бумагу из государственных фондов, на постоянный договор

Литературно-художественный и философско-политический иллюстрированный журнал

Странник

Учредитель и главный редактор С. А. Яковлев
Москва, ул. Тургеневская, 12
Для писем: 125227, Москва, в/я 31

100000, Москва, ул. Рязанская, 11, корп. 1

10 октября 1991 г.

№ 106

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЕЧАТЬ РОССИИ

М.Н. Полторакину

Уважаемый Михаил Николаевич!

С 1991 года выходит новый литературно-художественный и философско-политический журнал "Странник", учрежденный частным лицом. Держится он, можно сказать, на голом энтузиазме его создателей — молодых журналистов, политологов, литературоведов, у которых нет ни крупных счетов в банке, ни производственных помещений, ни легкого доступа к бумаге и типографскому станку.

При всем этом журнал уже успел заслужить хорошую репутацию среди читателей и немало одобрительных отзывов в средствах массовой информации ("Литературная газета", "Независимая газета", "Московские новости", журнал "Литературное обозрение", Российское телевидение, радиостанция "Эхо Москвы" и т.д.). Рецензенты отмечают оригинальное направление журнала, выходящее его из множества других томов и тонкую изданий, высокое качество оформления, а самое главное — требовательный вкус в подборе материалов, что позволяет говорить о появлении нового по-настоящему культурного издания.

Редакция "Странника" не гонится за сенсацией и шумливостью злободневности. В социальном плане журнал прежде всего отстаивает интересы и права человека, личности, продолжая доброту традиций русской журналистики. "Странник" стремится уделить

95/11
34

2

особое внимание негромким голосам и полутонким как в художественной, так и в политической сфере жизни, а также способствовать тесному диалогу различных культур, в числе всего — служить связующим звеном между разобщенными по сугубо оценкам мирового культуры.

К сожалению, как и все культурные начинания, журнал остро нуждается в поддержке.

Убедительно просим вас искать для журнала (конкретно бумагу по существующим государственным расценкам /не менее 100 т в год/ и оказывать редакции помощь в налаживании нормального типографского цикла.

ИМЕНА РЕДАКТОРОВ И АВТОРОВ ЖУРНАЛА "СТРАНИК":

- И. Мочалов* И.И. МОЧАЛОВ, доктор философских наук;
- С. А. Яковлев* С.А. ЯКОВЛЕВ, главный редактор;
- М. О. Чураков* М.О. ЧУРАКОВ, доктор филологических наук, профессор Литературного института;
- Л. М. Т. Мофеев* Л.М.Т. МОФЕЕВ, писатель, журналист;
- Б. А. Волостунин* Б.А. ВОЛОСТУНИН, адвокат, переводчик с шведского языка;
- С. И. Яковлев* С.И. ЯКОВЛЕВ, писатель;
- В. К. Кантор* В.К. КАНТОР, доктор философских наук, философ;
- Б. И. Черныш* Б.И. ЧЕРНЫШ, писатель;
- Г. А. Беляя* Г.А. БЕЛЯЯ, доктор филологических наук;
- А. М. Сидоров* А.М. СИДОРОВ, писатель;
- М. В. Воронцов* М.В. ВОРОНЦОВ, писатель;
- П. И. Черкасский* П.И. ЧЕРКАССКИЙ, доктор филологических наук.



Учителя и ученики. На переднем плане Юхан Эберг, Сергей Яковлев, Анна-София Квенсель, Людмила Бусуек

с типографией, на услуги "Союзпечати". Нет смысла говорить в отношении нас и о подписчике, который в нормальной стране своими средствами голосует за приглянувшийся ему журнал. Во-первых, подавляющее число наших потенциальных подписчиков о "Страннике" просто не знают, никогда не держали его в руках. Во-вторых, себестоимость, а значит, и цена нашего журнала гораздо больше, чем у изданий, которым покровительствуют власти, и даже если он будет значительно лучше по содержанию, это не всегда определит читательский выбор в нашу пользу.

Если уж старый популярный "Урд ок бильд", по словам его главного редактора, наполовину убыточен, то культурный журнал в нашей стране при таком же тираже не окупается и на четверть.

В ноябре 1991 года редколлегия и авторы "Странника" обратились к министру печати и средств массовой информации РСФСР М.Н. Полторанину с просьбой помочь чем возможно новому культурному изданию. Общение с нашими властями редко приносит радость. Каждый раз на любом уровне все повторяется по заведенному еще давным-давно порядку. "Вам нужно помещение под редакцию, хотя бы одну комнату? В Москве для детских кухонь не хватает помещений!" Беда, однако, в том, что детских кухонь (равно как и квартир, одежды и обуви, продуктов питания и прочего) от такой демагогии не прибавляется, а становится еще меньше. Понятно почему: ес-

ли сказано "всем плохо" — зачем стараться кому-то делать лучше? (Главное, что мне хорошо!) Если сказано "ни копейки на культуру" — какие вам еще культурные журналы?..

В этой глухонемой стране парадоксальным образом всегда царит мистифицированное слово.

Одно из таких новоязовских, освобожденных у нас уже от всякого реального смысла слов — "рынок". Фондовая бумага, так же как и роскошные помещения, доставшиеся российскому печатному ведомству в наследство от бывших партийных изданий, розданы "своим" (по каким признакам нынче отделяют "своих" от "чужих", угадать нелегко; скорее всего по старым — нахрапистости да угодничеству). А нам говорят: "Что же вы? Конкурируйте!" Да мы с самого рождения, многоуважаемые, только тем и занимаемся, что с вами "конкурируем". И все как-то не получается.

Сам Полторанин не снизошел до того, чтобы прочесть письмо, подписанное известными всему миру русскими писателями и учеными. Государственный муж занят, очевидно, другими делами. А вот ответившей нам чиновнице министерства сама мысль о помощи такому журналу, как наш, показалась кощунственной: "Удивляйтесь и радуйтесь, что мы позволили вам учредиться, что не закрываем вас!"

О да. В России человек привык радоваться, что его пока не бьют.

Редактор.

Журнал "Странник" — не коммерческое издание. Чтобы выжить, он на первых порах нуждается в поддержке.

Редакция с благодарностью примет помощь в любой форме от организаций, предприятий, фондов и частных лиц.

Предоставляем страницы журнала для рекламы и объявлений за умеренную плату.

Контактный телефон 241-45-52.

Мы верим, что у "Странника" хорошее будущее, и будем рады разделить с вами наш общий успех.

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ТРОС

Борис ГРОЙС

Мир, который обещала построить установившаяся в России после Октябрьской революции власть, должен был не только стать справедливым или гарантировать человеку экономическую обеспеченность — он, быть может, еще даже в большей степени должен был стать прекрасным. Неупорядоченная, хаотичная жизнь прошлых эпох должна была смениться жизнью гармоничной, организованной по единому художественному плану. Тотальное подчинение всей экономической, социальной и просто обыденной жизни страны единой плановой инстанции, призванной регулировать даже ее мельчайшие детали, гармонизировать их и создавать из них единое целое, превращало эту инстанцию — партийное руководство в своего рода художника, для которого материалом служил весь мир, притом что цель была — "преодолеть сопротивление материала", сделать его податливым, пластичным, способным принять любую нужную форму.

В начале своего "рассуждения о методе" Декарт сожалеет о том, что он не в состоянии вследствие слабости своих сил рационально организовать

Из книги Бориса Гройса "Сталин как стиль".

жизнь целой страны или хотя бы одного города, а потому принужден упорядочить лишь собственные мысли. Марксистское учение о надстройке отрицает, как известно, возможность изменить состояние собственного мышления без изменения определяющего это мышление общественного базиса, то есть типа организации общества, в котором живет мыслящий. Человек вместе с его мышлением и вообще внутренним миром есть для революционера-марксиста лишь часть материала, подлежащего упорядочению: новое рациональное мышление не может возникнуть иначе как из нового рационального порядка самой жизни.

Но в самом акте создания нового мира есть, следовательно, нечто иррациональное, чисто художественное: ведь создатель не может претендовать на полную рациональность своего проекта, поскольку проект этот был сформирован в еще не гармонизированной действительности.

Практику художника-властителя оправдывает, по существу, лишь выделяющее его из толпы простых смертных знание того, что мир эластичен и что поэтому все кажущееся обычному человеку устойчивым и непреходящим в действительности относительно и может быть изменено. Сама тотальная власть над обществом оберегает творца



проклятые вопросы



USSR

1929

RUSSISCHE

AUSSTELLUNG



новой жизни от любой возможной критики: ведь критикующий занимает лишь определенное место в обществе, лишаящее его возможности общего взгляда на целое. Перспектива власти и эстетическая дистанция здесь совпадают. Если Ницше полагал, что мир как он есть может быть оправдан только эстетически, то еще более верно, что только эстетически может быть оправдан проект построения нового мира.

Такой проект новой эстетической организации общества не раз предлагался и даже опробовался на Западе, но впервые вполне удался только в России. На Западе каждая революция так или иначе сменялась контрреволюцией. Революция не могла быть на Западе столь радикальной, как на Востоке, поскольку сама западная революционная идеология слишком ощущала свою преемственность от традиции, опиралась на уже ранее проделанную интеллектуальную, социальную, политическую, техническую работу, слишком дорожила теми обстоятельствами, которые ее породили и в которых она впервые артикулировалась. Ни одна западная революция не была способна на такое безжалостное уничтожение прошлого, как русская революция.

Революционная идеология была импортирована в Россию с Запада, она не имела собственно русских корней. Русская же традиция ассоциировалась с отсталостью и унижением по отношению к более развитым странам и поэтому вызывала отвращение, а не сожаление у большинства интеллигенции да, как в ходе революции выяснилось, и у народа. Уже петровские реформы показали готовность русского населения сравнительно охотно отказаться от своих весьма, казалось бы, укорененных традиций в пользу западных новшеств, если такой отказ обещал быстрый прогресс страны.

Эта чисто эстетическая нелюбовь к старому, поскольку оно ассоциировалось с отсталостью и чувством неполноценности, сделала Россию в XIX веке исключительно восприимчивой к новым художественным формам. Благодаря этому русская интеллигенция оказывалась способной компенсировать свой комплекс неполноценности и считать, в свою очередь, сам Запад культурно отсталым.

Русская революция часто оценивалась с рационально-марксистских позиций как парадокс, поскольку она совершилась в технически и культурно отсталой стране. Но Россия куда больше Запада была подготовлена к революции эстетически, то есть куда легче могла позволить провести над собой художественный эксперимент невиданного масштаба.

Первые проекты этого эксперимента, созданные практиками и теоретиками русского авангарда, остались нереализованными, но зато вошли прочно в историю искусств, вызывая повсеместное и заслуженное восхищение своей смелой радикальностью.

Непризнание в свое время искусства авангарда, обречшее его творцов на положение аутсайдеров, отнюдь не означает, что они сознательно стремились к такому положению и что им не свойственна была воля к власти. Напротив, внимательное изучение их текстов и их практики свидетельствует об обратном. Именно в искусстве авангарда художественная воля к овладению материалом и его организации по законам самих художников

обнаружила свою прямую связь с волей к власти, что и послужило источником конфликта художника с обществом.

Миф о безгрешности авангарда поддерживается довольно распространенным мнением, что тоталитарное искусство 30-40-х годов представляет собой лишь простое возвращение к прошлому, в чистом виде регрессивную реакцию против нового искусства, непонятого широким массам. Социалистический реализм оказывается в этой интерпретации лишь простым отражением традиционалистского вкуса масс, возвращением к прошлому, что, как кажется, находит себе подтверждение в распространенном тогда лозунге "учитесь у классиков". При этом очевидная непохожесть произведений социалистического реализма на классические образцы заставляет говорить о нем, как о неудавшемся возвращении, о простом киче, о "впадении в варварство", так что искусство социалистического реализма спокойно отправляется в область "неискусства".

Между тем 30-40-е годы в Советском Союзе были всем, чем угодно, но только не временем свободного и беспрепятственного проявления вкуса масс, которые, несомненно, и в то время склонялись в сторону голливудских кинокомедий, джаза, романов из "красивой жизни" и т.д., а не в сторону социалистического реализма, призванного эти массы воспитывать и отпугивающего их менторским тоном, отсутствием развлекательности и полным отрывом от реальной жизни, не уступавшим по радикальности "черному квадрату" Малевича. Если миллионы советских рабочих и крестьян могли изучать в те годы законы марксистской диалектики вроде "перехода количества в качество" или "отрицания отрицания", то можно не сомневаться, что они не сильно бы удивились и отнюдь не стали бы протестовать, если бы им дополнительно к этому предложили изучать теорию супрематизма и все тот же "черный квадрат". Несомненно, что бы ни сказал в то время Сталин, все было бы принято с одинаковым энтузиазмом.

Социалистический реализм создавали не массы, а от их имени — вполне просвещенная и искушенная элита, прошедшая через опыт авангарда и перешедшая к социалистическому реализму вследствие имманентной логики развития самого авангардного метода. Основные формулировки метода социалистического реализма были разработаны в весьма сложных, на высоком интеллектуальном уровне проходивших дискуссиях, участники которых очень часто платили за неудачную или несвоевременную формулировку жизнью, что, разумеется, еще более повышало их ответственность за каждое сказанное слово. Современному читателю этих дискуссий прежде всего бросается в глаза относительная близость позиций участников, им самим, разумеется, представлявшихся взаимоисключающими. Эта близость между исходными установками победителей и их жертв заставляет с особенной осторожностью отнестись к однозначным оппозициям, продиктованным чисто моральной оценкой событий.

Искусство классического авангарда — в том числе и русского, — разумеется, слишком сложное явление, чтобы его можно было целиком охватить одной формулой, но все же, как кажется, не будет чрезмерным упрощением утверждать,

что его основной пафос состоит в требовании перехода от изображения мира к его преобразению. Готовность европейских художников на протяжении многих столетий с любовью копировать внешнюю действительность имела в своей основе восхищение природой как целостным и завершенным в себе творением Бога, которому художник может только подражать. В течение XIX века все возрастающее вторжение техники в жизнь Европы и вызванное этим процессом разложение привычной целостной картины мира привели постепенно к переживанию смерти Бога, или, точнее, убийства Бога, совершенного новым, технизированным человечеством. С исчезновением мирового единства, гарантировавшегося Божественной творческой волей, горизонт земного существования разомкнулся, и за многообразием видимых форм этого мира открылся черный хаос — бесконечность потенциальных возможностей космической жизни, в которой все данное, реализованное, унаследованное готово было в любой момент раствориться без остатка.

Русский авангард был движим вовсе не восторгом перед техническим прогрессом, вовсе не наивным доверием к нему, как это часто представляется. Авангард с самого начала был не нападающей, а лишь защищающейся стороной. Он в первую очередь ставил себе цель скомпенсировать разрушительное действие, произведенное вторжением техники, нейтрализовать его, а вовсе не разрушать самому. Неправильно представлять себе авангард одушевленным нигилистическим, разрушительным духом, пылающим непонятной враждой ко всему "священному" и "дорогому сердцу", как это делала в свое время враждебная авангарду критика и как это до сих пор делают даже сочувствующие авангарду и считающие нужным прославлять его "демонизм".

Отличие авангарда от традиционализма состоит вовсе не в том, что он радуется произведенным современным техническим рационализмом опустошениям, а в том, что он убежден в невозможности противостоять этим опустошениям традиционалистскими методами. Если авангард следует ницшеанской максиме "падающего подтолкни", то только потому, что глубоко убежден в невозможности падающего удерживать. Авангард принял разрушение мира как произведения Божественного искусства за совершившийся и непоправимый факт, который следует осознать возможно более радикально, со всеми его последствиями, чтобы быть в состоянии скомпенсировать нанесенный урон.

Хорошим примером такой авангардистской стратегии является художественная практика К.С.Малевича, который в своей известной работе "О новых системах в живописи" (1919) писал, в частности: "Всякое творчество, будь то природы, или художника, или вообще любого творческого человека, есть вопрос конструирования способа преодолеть наш бесконечный прогресс". Авангардизм Малевича, таким образом, отнюдь не в желании стать в авангарде прогресса — последний воспринимается им как ведущий в никуда и потому совершенно бессмысленный. Но в то же время единственный способ для Малевича остановить прогресс — это, так сказать, забежать вперед него и найти впереди, а не сзади точку опоры или оборонную линию, которую можно было бы с успехом защищать от наступающего прогресса. Про-

цесс разрушения, редукции, должен быть доведен до конца, чтобы таким образом найти далее нечто нередуцируемое, внепространственное, вневременное и внеисторическое, на чем можно было бы закрепиться. Таким "нечто" явился для Малевича, как известно, "черный квадрат", надолго ставший самым известным символом русского авангарда. "Черный квадрат" и есть результат редукции любого возможного конкретного содержания, знак чистой формы созерцания, предполагающей трансцендентального, а не эмпирического субъекта. Предметом этого созерцания является для Малевича абсолютное ничто (то ничто, к которому и стремится, с его точки зрения, всякий прогресс), совпадающее с космической первоматерией, или, иначе говоря, чистой потенциальностью всякого возможного существования, раскрывающейся за пределами любой наличной формы. Супрематические картины Малевича, представляющие собой результаты дифференциации этой изначальной формы по чисто логическим "неземным" законам, описывает для него беспредметный мир, отличный от мира чувственно данных форм.

Основным в эстетике Малевича является убеждение, что комбинации чистых беспредметных форм подсознательно определяют отношение субъекта ко всему, что он видит, и, следовательно, положение самого субъекта в мире. Малевич исходит из того, что как в природе, так и в классическом искусстве исходные супрематические элементы находились в "правильных" гармонических соотношениях, хотя это обстоятельство ранее и не было отрешфлексировано художниками. Вторжение техники разрушило гармонию, в результате чего и стало необходимым выявить эти прежде подсознательно действовавшие механизмы, чтобы научиться управлять ими сознательно и в результате добиться новой гармонии в новом, техническом мире, подчинив его единой организующей и гармонизирующей воле художника. Урон, нанесенный миру техникой, должен, таким образом, и компенсироваться технически, причем хаотичный характер технического развития должен смениться единым проектом реорганизации всего космоса, в котором Бога должен сменить художник-аналитик. Цель этой тотальной операции — раз и навсегда остановить всякое дальнейшее развитие, всякий труд, всякое творчество. "Белое человечество", возникающее после этой остановки истории, воплощает жизнь по ту сторону подвига и надежды. Зрелище беспредметного мира, то есть видение абсолютного ничто как последней реальности всех вещей, должно, по Малевичу, заставить молитву замереть на устах святого и героя, выронить его меч, ибо это видение завершает историю.

Но прежде всего должно прекратиться всякое искусство. Малевич пишет: "Любая форма творимого духовного мира должна строиться в соответствии с единым общим планом. Не может быть никаких специальных прав и свобод для искусства, религии или гражданской жизни". Потеря этих прав и свобод не является, однако, настоящей потерей, ибо человек изначально несвободен: он является частью космоса и его мышление управляется подсознательными стимулами, которые порождают в нем как иллюзию внутреннего мира, так и иллюзию внешней реальности. Всякое стремление к познанию иллюзорно и смехотворно, так как речь идет о попытке с помощью мыс-

лей, порождаемых скрытыми стимулами, исследовать вещи, также порождаемые этими стимулами. Исследовать реальность означает исследовать то, чего нет и что непонятно. Только художник-супрематист способен управлять скрытыми стимулами, модифицировать или гармонизировать их, поскольку ему открыты законы чистой формы.

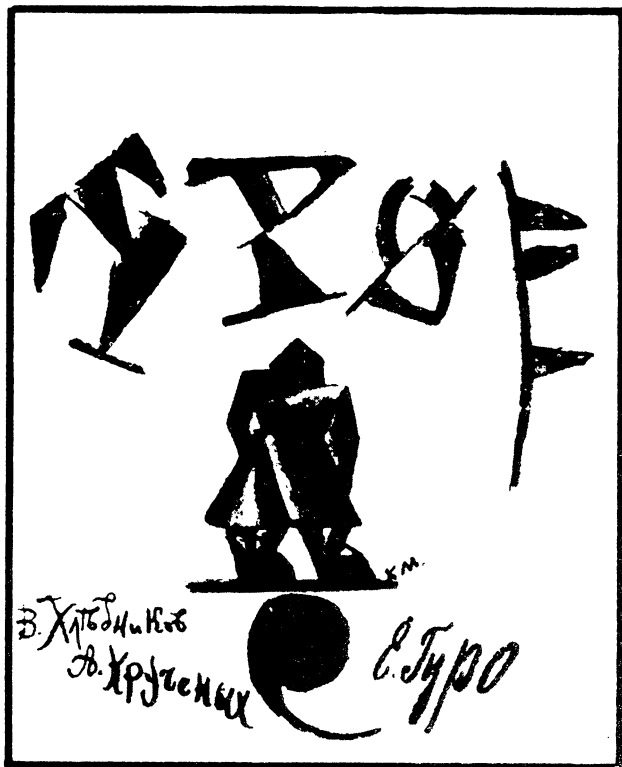
Религия и наука отрицаются Малевичем, поскольку относятся к области сознания, а не подсознания. Характерно, что в своих поздних сочинениях Малевич видит конкурента художнику только в государстве, имея в виду, очевидно, тоталитарное государство советского типа. Государство также апеллирует к подсознанию: "Любое государство есть такой аппарат, посредством которого происходит регулирование нервной системы живущих в нем людей". Вместе с тем Малевич не боится конкуренции государства, ибо доверяет утверждениям официальной советской идеологии, что она основывается на научности и стремится к техническому прогрессу. Советский идеолог оказывается в одном ряду со священником и ученым, чьи успехи, поскольку они ориентируются на сознание и историю, всегда временны в отличие от достижений художника, ориентированного на бессознательное. "Если принять за верное определение, что все художественные произведения исходят из действия подсознательного центра, то можно утверждать, что центр подсознания учитывает вернее центра сознания". Здесь Малевич ошибочно ставит знак равенства между советской и обычной либерально-рационалистической идеологией: не в меньшей степени, нежели сам Малевич, советский марксизм исходит из подсознательной детерминированности человеческого мышления, но только ищет эту детерминацию не в визуальной, а в социальной организации мира. Так что советская идеология оказалась бо-

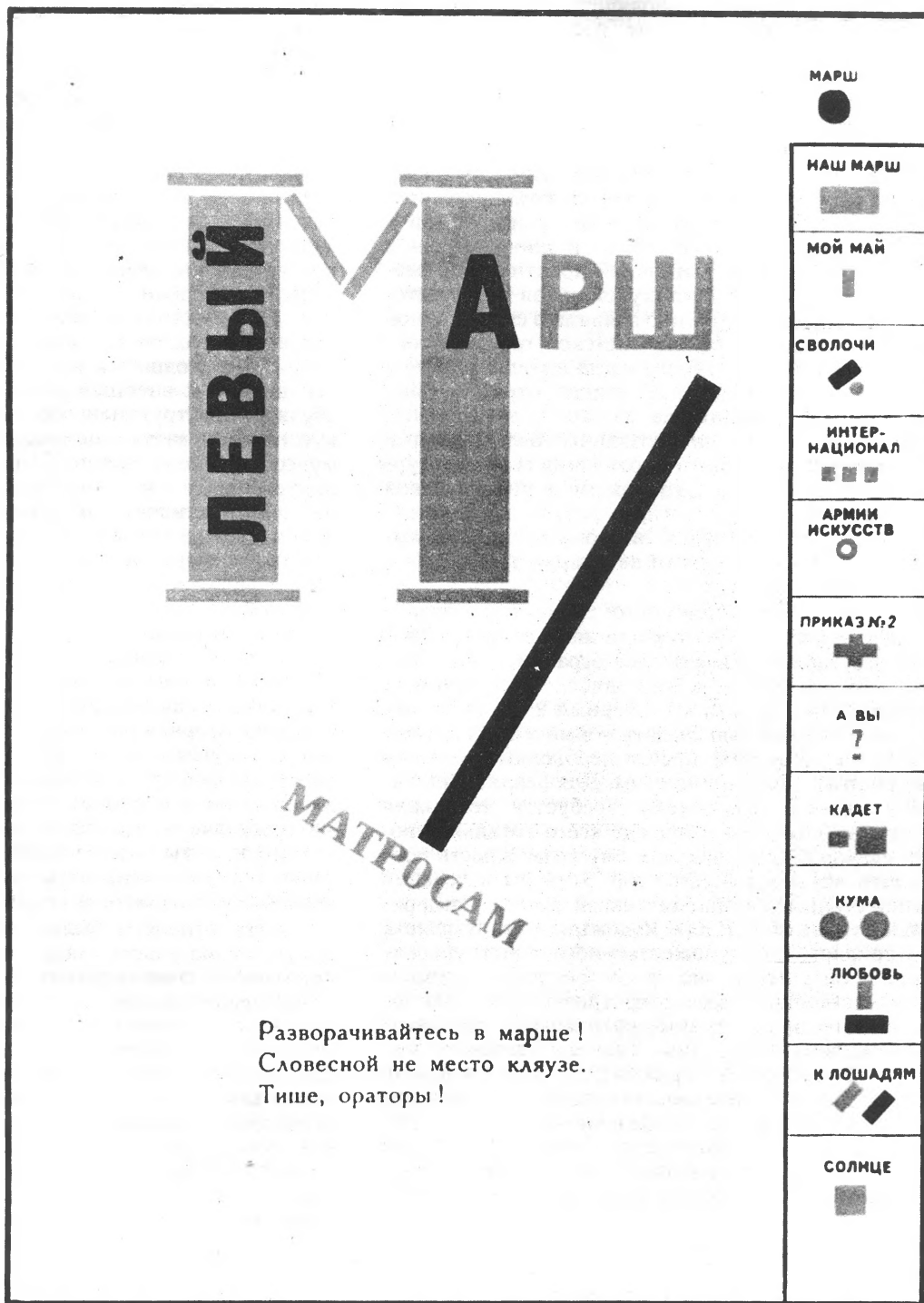
лее серьезным конкурентом в деле воздействия на "нервную систему", чем это многим вначале представлялось...

Подход Малевича к проблемам искусства весьма характерен для той эпохи. Так другой ведущий представитель русского авангарда — поэт Велимир Хлебников полагал, что за привычными формами языка скрывается чисто фонетический заумный язык, магически воздействующий на слушателя или читателя, и поставил себе целью реконструировать этот язык подсознания, как сказал бы Малевич, и сознательно овладеть им. Так же как и супрематизм Малевича, заумный фонетический язык Хлебникова, пошедшего дальше других по пути преодоления привычных языковых форм, претендовал на универсальность. Хлебников называл себя "Представителем земного шара" и "Королем времени", поскольку полагал, что нашел законы, благодаря которым авангард получает власть над временем и подчиняет этой власти весь мир.

Но и за пределами собственного авангардного круга легко найти в то время параллели основным идеям Малевича. Так его редукционизм напоминает и феноменологическую редукцию Гуссерля, и логический редукционизм Венского кружка, и призыв к опрощению, провозглашенный Львом Толстым. Все перечисленные теории также стремятся найти элементарную, но безусловную опору и при этом ориентируются на "повседневное", "народное" и движимы антипрогрессистским пафосом. Еще в большей степени теория Малевича может быть связана с неогностицизмом учением о "теургии" Владимира Соловьева, который видел смысл искусства в "жизнестроительстве", полагая, что художнику открываются скрытые связи, которые окончательно обнаружатся после конца света. По Соловьеву, человек живет под властью космических сил и может быть спасен только вместе со всем космосом в перспективе единого апокастазиса, ничего не добавляющего в мир и не изымающего из него, но лишь делающего видимыми гармонические соотношения между вещами мира. Именно здесь можно увидеть один из источников рассуждения Малевича о том, что художник призван сделать "материальные", чисто цветные ощущения "видимыми", как бы увиденными в иной, апокалиптической, запредельной, постисторической перспективе.

Но все эти параллели недостаточны, чтобы выявить то новое, что принес с собой авангард. Речь идет об утверждении доминирования подсознательного над сознательным в человеке, возможности логического и технического манипулирования этим подсознательным с целью построения нового мира и нового человека в нем. Именно в этой части ранний авангард Малевича и Хлебникова был радикализирован его преемниками. Для них супрематизм или заумная поэзия были уже слишком созерцательными, не порвавшими до конца с миметической и познавательной функциями искусства, хотя и направленными на созерцание внутренней, "подсознательной" конструкции, а не внешнего облика мира. Позже Родченко использует супрематические конструкции для прямого выражения организующей "инженерной" воли художника, а один из теоретиков конструктивизма (или, точнее, его более позднего варианта — продуктивизма) Б.Арватов будет говорить об инженерной природе поэзии Хлебникова. Можно





сказать, что выстроенная Малевичем и другими ранними авангардистами линия обороны оказалась без особенного труда взятой наступающим техническим прогрессом, охотно воспользовавшимся радикальным техническим аппаратом, создававшимся для последней и решительной борьбы с ним.

Если для Малевича достижение нулевой точки, с которой должно было начаться создание нового мира, являлось еще делом художественного воображения, то после Октябрьской революции 1917 года и первых двух лет гражданской войны не только русским авангардистам, но практически и всему населению прежней Российской империи

вполне справедливо показалось, что точка нуля достигнута в реальности. Страна была разорена дотла, нормальный быт полностью разрушился, жилища стали непригодными для жизни, экономика перешла почти на первобытную стадию, традиционные общественные связи распались, и жизнь постепенно приобретала черты войны всех против всех. По знаменитому замечанию Андрея Белого, "победа материализма в России привела к полному исчезновению в ней всякой материи", так что супрематизму уже не нужно было долго доказывать ставшую для всех очевидной истину, что материя как таковая есть ничто. Казалось, время апокалипсиса наступило и формалистиче-

ская теория "сдвига", выводящего вещи из их нормальных отношений и тем "отстраняющего" их, деавтоматизирующего их восприятие, делающего их особым образом "видимыми", стала из обоснования авангардистской художественной практики объяснением повседневного опыта российского обывателя.

Русский авангард увидел в этой уникальной исторической ситуации не только несомненное подтверждение своих теоретических конструкций и художественных интуиций, но и единственный в своем роде шанс их тотальной практической реализации. Большая часть художников и литераторов авангарда немедленно заявила о своей полной поддержке новой, большевистской государственной власти, и в условиях, когда интеллигенция в целом отнеслась к этой власти отрицательно, представители авангарда заняли ряд ключевых постов в новых органах, созданных большевиками для централизованного управления всей культурной жизнью страны. Этот прорыв к политической власти не был для авангарда результатом оппортунизма и стремления к личному успеху, он вытекал из самой сущности авангардистского художественного проекта.

Художник традиционного типа, ориентирующийся на воссоздание тех или иных аспектов природного, может ставить себе ограниченные задачи. Но художник-авангардист, для которого внешний мир обратился в черный хаос, стоит перед необходимостью создать новый мир, и потому его художественный проект необходимо является тотальным, неограниченным. Для реализации такого проекта художнику требуется тотальная власть над миром, и прежде всего тотальная политическая власть, дающая ему возможность подчинить все человечество или хотя бы население одной страны выполнению своей задачи. Сама реальность является для художника-авангардиста материалом его художественного конструирования, и он естественно (в соответствии со своим художественным проектом) требует для себя абсолютного права распоряжаться этим реальным материалом. Требование власти художника над художественным материалом, лежащее в основе современного понимания искусства, имплицитно содержит в себе требование власти над миром, поскольку мир сам признается материальным. Эта власть не может признавать над собой никаких ограничений и не может ставиться под сомнение какой-либо иной, нехудожественной инстанцией, поскольку сам человек, его мышление, наука, все его институты провозглашаются подсознательно детерминированными и потому в свою очередь подлежащими перестройке по единому художественному плану. Художественный проект, следуя своей имманентной логике, становится художественно-политическим, и выбор между различными проектами — а такой выбор неизбежен вследствие неизбежного многообразия художественных проектов, из которых, разумеется, может быть реализован только один, — в свою очередь становится не только художественным, но и политическим выбором, поскольку от него зависит вся организация общественной жизни.

В первые годы советской власти авангард не только попытался политически реализовать свои художественные проекты, но и сформировал специфический тип художественно-политического дискурса, в котором каждое решение относитель-

но эстетической конструкции художественного произведения оценивалось как политическое и, наоборот, каждое политическое решение оценивалось исходя из его эстетических последствий. Эволюция этого типа дискурса, ставшего в стране доминирующим, и привела к гибели самого авангарда.

Но в 1919 году, когда Родченко и его группа предложили новую программу конструктивизма, авангард вполне был уверен в том, что в его руках будущее. Отказываясь от всякой контемплативной установки, элементы которой еще имелись у первого поколения авангарда, Родченко, Таглин и другие конструктивисты провозгласили производство искусства самодостаточной, автономной вещью, не стоящей в каких-либо миметических отношениях с внешней для нее реальностью. За образец конструктивистского произведения искусства была взята машина, движущаяся по своему собственному закону. Правда, в отличие от индустриальной машины "художественная машина" конструктивистов не рассматривалась ими, во всяком случае вначале, как утилитарная. В соответствии с формалистической эстетикой она должна была выявлять материал конструкции и саму конструктивную природу, или, если угодно, "машину подсознания", которая в утилитарной машине скрыта. Конструкции рассматривались их авторами не как самодостаточные произведения искусства, а как модели новой организации мира, как лабораторная разработка единого плана овладения мировым материалом. Отсюда и любовь конструктивистов к гетерогенным материалам и их сочетанию в рамках одного произведения, и многообразие их проектов, охватывавших самые разные аспекты человеческой деятельности и пытавшихся унифицировать их в соответствии с единым художественным принципом.

Конструктивисты были уверены, что именно им уготована участь взять в свои руки эстетико-политическую организацию страны. Сотрудничая с большевиками политически, они, однако, не сомневались в своем интеллектуальном превосходстве и рассматривали поназаву власть большевиков как необходимый переходный этап. Между тем и сами лидеры большевизма в то время не скрывали, что плохо представляют себе конкретные пути построения нового мира. По отношению к искусству партийное руководство в то время (в первую очередь в лице министра культуры А. Луначарского) выступало сторонником плюрализма художественных направлений, стремясь заручиться возможно более широкой поддержкой в кругах старой интеллигенции. К авангардистскому искусству партийные лидеры, воспитанные в традиционных художественных представлениях, относились более чем скептически, а Ленин прямо признавал, что мало что понимает в искусстве, хотя любит "Аппассионату" Бетховена, роман Чернышевского "Что делать?" и революционную песню "Вы жертвою пали...". Большевики ценили, разумеется, поддержку авангарда, но в то же время были озабочены его стремлением к художественной диктатуре, отпугивавшим представителей других, художественно более близких им течений. Эту двойственность партийного руководства авангардисты толковали как его фактическую неспособность справиться с поставленной задачей построения нового мира и неустанно разъясняли тесную взаимосвязь политики и искусства, вну-

шая партии мысль о принципиальной противоположности двух направлений в искусстве: буржуазного, традиционного, контрреволюционного миметического искусства и нового, пролетарского, революционного искусства конструктивного построения коммунизма, понимаемого как художественная организация самой жизни по единому плану.

Все настойчивее художники, поэты, писатели и публицисты авангарда комбинировали эстетические обвинения с политическими, прямо призывая государственную власть приступить к репрессиям против их оппонентов. Но по мере того как советский режим укреплялся и все более широкие круги интеллигенции переходили к поддержке большевиков (что последними, естественно, приветствовалось), база авангарда неуклонно сокращалась. Уже с началом нэпа в стране возник новый художественный рынок и новый читательский спрос со стороны нэпманской буржуазии, которой авангард был чужд и эстетически и еще более политически. Именно с этого времени (а не в 30-е годы, как принято считать) начинается закат авангардистского движения. К концу 20-х годов движение это уже утрачивает в стране всякое влияние. В этот период возникают новые художественные объединения типа АХРР (Ассоциация художников революционной России) или РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), которые комбинируют традиционные эстетические приемы и лозунг "учиться у классиков" с авангардистской риторикой и техникой обвинения оппонентов в политической неблагонадежности, находя благодаря этому все возрастающую поддержку у властей. Одновременно возникают литературные и художественные группы попутчиков, где большую роль играет молодежь, которую трудно было запугать авангардистскими закливаниями и которая в поисках нового рынка сбыта для своей художественной продукции стремилась скомбинировать традиционные приемы с авангардными.

Характерно, однако, что именно в этот период наиболее активное радикальное крыло авангарда, объединившееся вокруг журналов "ЛЕФ" (затем "Новый ЛЕФ"), еще более радикализовало свою программу, перейдя от лозунга конструктивизма к лозунгу продукционизма, то есть прямого производства утилитарных вещей и организации всего производства и сбыта художественными методами. Всякая автономная художественная деятельность была объявлена теоретиками ЛЕФа реакционной и даже контрреволюционной. Родченко, ставший ведущим художником ЛЕФа, называл своего вчерашнего союзника Татлина типичным русским юродивым за его верность "мистике материала".

Теоретик конструктивизма А. Ган в свое время провозглашал: "Мы должны действительность не рефлексировать, отображать или интерпретировать, а намеченные цели нового активного рабочего класса, пролетариата, практически воплощать и выражать... мастер цвета и линии, равно как и организатор массовых акций, — они все должны стать конструктивистами для общей задачи организации и движения многомиллионными человеческими массами".

Хотя позиция ЛЕФа выглядит в сравнении с этим первоначальным оптимизмом даже еще более радикальной, она в то же время отражает по-

шатнувшуюся уверенность авангарда в своей способности справиться с поставленными задачами собственными силами. Язык ЛЕФа постепенно все более "коммунизируется", и сам он все более склоняется к тому, что только партия способна реализовать его проект. Себе же ЛЕФ теперь отводит, с одной стороны, роль "спеда", работающего по партийному "социальному заказу", а с другой — наставника партии в вопросах искусства, способного разъяснить партийному руководству, где его подлинные друзья и враги, научить партию ставить отвечающие требованиям времени конструктивные художественные задачи.

Так Борис Арватов (ставший одним из основных теоретиков "продукционистского" ЛЕФа) уже ограничивает роль искусства поиском оптимальных средств для достижения тотальной организации, цели которой должны быть получены извне. "Из художников, — пишет он, — должны сделаться сотрудники ученых, инженеров и административных работников". Искусство продолжает у Арватова ориентироваться на традиционный авангардистский идеал мотора внутреннего сгорания, в который теоретик хотел бы обратить все общество. Но идеал этот уже утрачивает у него универсальное космическое измерение, характерное для авангарда Малевича и Хлебникова, замыкается в чисто социальной действительности, контролируемой определенными политическими силами, и перекладывает на эти силы (конкретно — на коммунистическую партию) основную тяжесть организационной работы, оставляя за художником лишь выполнение ограниченных функций в рамках единого "партийного заказа". Здесь уже в рамках самого авангарда и, исходя из его собственного художественного проекта, осуществляется отказ от права первородства, а действительной политической власти начинает отводиться, по существу, роль авангардного художника — создавать единый план новой реальности. Требование установить тотальную политическую власть, имманентно вытекающее из авангардистского художественного проекта, сменяется требованием к уже существующей тоталитарной политической власти осознать свой проект как художественный.

Такой же двойственностью отличается позиция Арватова по вопросу о традиционном миметическом искусстве. С одной стороны, он объявляет его признаком неполной организованности общества, препятствием для реализации авангардистского проекта, болезненным явлением, свидетельствующим о недостаточной "художественности" самой жизни. С этой точки зрения отвергается также искусство Малевича, Кандинского или Татлина, продолжающее оставаться контемплативным. Негативно оценивает Арватов и возрождение изобразительного искусства в 20-е годы, которое он, как тогда было принято в левых кругах, считает проявлением связанной с нэпом общей культурной реакции. Но в то же время Арватов готов признать за искусством не только конструктивную, организующую, но и агитационную функцию, поскольку оно не просто отображает жизнь, а реально способствует ее перестройке. И в рамках этой задачи Арватов оказывается принужден реабилитировать даже традиционную станковую картину, уничтожения которой теоретически добивался продукционизм. "Изобразительное искусство как искусство фантазии можно

считать тогда оправданным, когда оно играет для его создателей, равно как и для всего общества роль предварительной подготовки к перделке всего общества" — эта формулировка очевидным образом превосходит более поздние взгляды эстетики сталинского периода.

Сходной была позиция и других ведущих теоретиков ЛЕФа. В статье Н. Чужака под характерным названием "Под знаком жизнестроения", прямо отсылающим к идеям Вл. Соловьева, читаем: "Искусство как метод познания жизни... — вот наивысшее содержание старой буржуазной эстетики. Искусство как метод строения жизни — вот лозунг, под которым идет пролетарское представление о науке искусства".

Соловьев, вслед за Гегелем, исходил из того, что познавательная роль искусства закончилась, и ему, следовательно, необходимо поставить новую цель — преобразование самой действительности. Художник, по Соловьеву, должен перестать

определяться "унаследованными религиозными идеями" и перейти к "сознательному управлению воплощениями религиозной идеи", которые покажут вещи в их будущем облике. Только тогда художник станет "всенароден" в том смысле, что, не следуя обыденным представлениям об облике вещей, представит народу вещи такими, какими они будут в конце времен.

Редукция этого нового предназначения искусства (которое Чужак, по существу, разделяет) к "пролетарской науке об искусстве" означает опять-таки капитуляцию перед требованием ведущей роли партии: роль художника-жизнестроителя оказывается сведенной на деле к той самой функции украшателя действительности, создаваемой кем-то другим, против которой сам же Чужак решительно протестует. Не зря ахрровские оппоненты ЛЕФа утверждали, что программа последнего не столь уж сильно отличается от программы любого западного художника, работаю-



щего на крупные корпорации в качестве дизайнера или в сфере рекламы. Осознание этого противоречия самим Чужаком вызвало его знаменитый пассаж в конце упомянутой выше статьи: "Мыслится момент, когда действительная жизнь, насыщенная искусством до отказа, извергнет за ненужностью искусство, и этот момент будет благословением футуристического художника, его прекрасным "ныне отпускаешь". До тех же пор — художник есть солдат на посту социальной и социалистической революции, — в ожидании великого "разводящего" — стой!"

Здесь речь идет уже не просто об исчезновении традиционного искусства в качестве автономной сферы деятельности, что составляло исходную предпосылку всего авангарда в целом, — здесь отказ от искусства в авангардистском понимании, от художника в его крайнем, продукционистском воплощении. Авангардист появляется здесь не как героический создатель нового мира, а как стоик, преданный обреченному делу. Искусство преодолевается именно в своей новой, авангардистской функции жизнестроительства — упраздняется неким военно-политическим начальником над всей "насыщенной искусством действительностью", мистической фигурой "великого разводящего", вскоре воплотившегося во вполне реальной фигуре Сталина.

Чужак указывает здесь на внутреннюю границу авангардистского художественного проекта. Если границей миметического искусства, претендовавшего на познание мира, стала наука, решающая эту задачу с большим успехом, то границей жизнестроительного проекта тотальной мобилизации во имя прекрасной формы стала военно-политическая власть, осуществившая тотальную мобилизацию на деле.

Левовская теория вполне соответствовала и левовской художественной практике. ЛЕФ, конечно, не мог непосредственно влиять на производство и определять реально складывавшиеся общественные отношения. Поэтому художники и литераторы ЛЕФа сосредоточили внимание прежде всего на агитации и пропаганде. Маяковский занялся оформлением "Окон РОСТА" (официальное информационное агентство того времени) и торговой рекламой, Родченко — плакатом, многие другие — оформлением театральных постановок, клубов и т.д. При этом авангардистская художественная продукция все в большей степени становилась изобразительной, хотя художники-авангардисты стремились работать с фотографией, а не со станковой картиной, а писатели-авангардисты — с так называемой литературой факта, то есть газетным материалом, а не с традиционными повествовательными формами. Но если самими левовцами газетные сообщения о "трудовых победах" или фотографии улыбающихся колхозниц и устремленных в будущее пролетариев воспринимались как "факты" и противопоставлялись "фиктивному", "иллюзорному" искусству прошлого, то сегодняшнему читателю и зрителю вполне ясно, что материал, которым они оперировали, являлся не непосредственной манифестацией жизни, а результатом пропагандистских манипуляций под тотальным контролем партийного аппарата. И здесь обнаруживается ахиллесова пята всей авангардистской эстетики: непонимание подлинных механизмов препарирования реальности. Неотрефлектированная зависимость левов-



цев от идеологически обработанной визуальной и речевой информации сделала их искусство вторичным.

Слепота авангарда изолировала его и обусловила его двойное поражение в конце 20-х годов. С одной стороны, для укрепляющейся власти претензии ЛЕФа на автономное жизнестроительство, дистанцирующееся от строительства социализма в стране под руководством партии, со временем становились все более анахроничными, неуместными и раздражающими. С другой — умеренная "путническая оппозиция", во многом задававшая тон в 20-х годах, стремилась в дозволенных цензурой рамках представить (вполне традиционными методами) образ действительности, отчасти расходящийся с официальным, и для нее апологетическое искусство авангарда было совершенно неприемлемо и даже опасно по причине исходивших от критиков авангардистского лагеря обвинений в "контрреволюционности формы и содержания".

Подтвердилось сказанное Малевичем конструктивистам и повторенное им не раз в его поздних сочинениях: поиск совершенства посредством техники и агитации делает художников пленниками времени и заводит их в тупик, ибо равнозначен созданию новой церкви — а все церкви временны и обречены на гибель, когда вера исчезает. Впрочем, крах авангарда был запрограммирован уже самим Малевичем, отводившим художнику роль властителя и демиурга вместо роли созерцателя.



Холодно, сыро, темно в архиве Никитского сада. Решетки на окнах, а за ними, в цветущем ракутнике, — птицы...

Признаюсь, с тех пор часто спрашиваю себя: какой бес понес меня за решетки? Зачем взяла папку, меченую словом "макулатура"? Было же море! И солнце. И уединение на берегу. Скальная роща, которой ночью владеют воинственные оравы жуков-олений. Какой-нибудь из рогатых гу-

ляк, опьяненный древесным соком, обязательно залетал на свет и, очумев, стучался о стены каштановым панцирем, пока я не выбрасывала его обратно в смоляную прохладу. Комната — нет, целые апартаменты! — собственная, вдалеке от родного коммунального рая с его мелким террором и поднадзорностью. Огромный письменный стол, возведенный в высшее кабинетное достоинство, — настоящий генерал от мебели, несдвигаемый, с



массивными дубовыми ящиками и просторным альковом для ног. Он господствовал здесь, распространял влияние, призывал под стяги, знамена, хоругви... Возле камина, сработанного по всем правилам номенклатурно-ведомственного интима, так уютно читать "Житейские воззрения кота Мурра" и время от времени поднимать глаза к плетям глицинии, укрывающей террасу. Потом, ближе к полночи, можно спуститься вслед за белеющей рубашкой сторожа, нащупывающего дорогу впотьмах, к глянцевиито-темной, как нефть, воде. А утром опять ощущать себя контрабандисткой в этом забронированном мирке, предназначенном для персоны главного иерарха.

Внизу, под окнами, среди желтой сурепки с обильными деревенскими цветами-крестиками стелились алые маки. А еще ниже розовыми головками кланялась морю валериана, и никнущие белые гвоздики осторожно сползали по камням, пуская вперед чувствительные побеги. Лишь необузданный земляничник выглядел застыло - недвижимым.

Дерево-дикарь, гордое, независимое, оно либо гибнет, либо живет так, как ему нравится, — высоко на скалах, поближе к солнцу. В нем все сопротивляется, не поддается чужой воле. Равнодушное к влаге, оно не признает никакой почвы: только камень. Мускулистые, напряженно-скрученные стволы, то сизовато-багровые, то глиняно-желтые, то нежно-розовые, в тонких лоскутах неотпавшей коры, несут раскидистую вечнозеленую крону. Солнце любого времени года отражается на округлых листьях, но весной дерево сняет еще и цветами. Они похожи на ландыши, правда, собраны в кисти, в которых потом долго держатся ягоды-земляничины...

И все это пропало, едва я открыла папку.

Первый лист, вытянутый в длину, с тисненым гербовым знаком — крылатым львом города Риги, был исписан черными чернилами, слегка побуревшими от времени. Вверху стояло: "ПРОТОКОЛЬ".

"1913 года апреля 20 дня помощник пристава 3-го участка г.Ялты Никульников вследствие предписания его высокородия господина ялтинского уездного исправника от 20 с. апреля прибыл в Императорский Никитский сад, где производил дознание о лишении себя жизни посредством выстрела из револьвера в висок ученика Никитского училища Николая-Амвросия Петровича Будковского IY класса, сына генерал-майора, причем опрошенные нижеподписавшиеся лица объяснили..."

В комнате, не унимаясь, тархтел холодильник. Я подошла к розетке и выдернула шнур.

Каллиграфические строки, расположенные на бумаге рачительно, с отступами для полей, теперь одни существовали на свете. Всего два листа с оборотом, они скреплены подписью помощника пристава, а также словами: "Более добавить ничего не имею..." Тоскливая простота зияла в них; и ни исправить, ни зачеркнуть, как не уйти самой от этих пожелтевших страниц, избравших меня своей поверенной. И было убедительно совпадение чисел: тринадцатый год после начала века, когда ученика мертвым обнаружили в классе, и тринадцатый год от конца века, когда смертные листки попали ко мне.

Он лежал навзничь, человек девятнадцати лет отроду, и кровь растекалась под его головой. Уездный врач констатировал смерть, и полицейский приступил к дознанию. Следствие не заняло и

двух часов, не то что составление протокола, с которым Никульников просидел бы до завтра, не предложи услуги местный эконо. Толковый малый и записал показания с печальным усердием исполняющего долг не по службе, а по совести. Он же позднее прошил листочки нитками, подклеил к ним другие казенные бумаги и, чистый перед самим собой, не оскорбив лукавством память покойного, закрыл папку на вечное забвение. Тот, кто через много лет первый наткнулся на нее, какой-нибудь бывший следователь, убранный подальше от глаз в годы реабилитации его жертв, видимо, и забвение-то посчитал честью для Будковского: "Хорошие люди не стреляются". Что еще могло вылупиться под непробиваемым черепом? Свое осатанелое рвение он выразил словом "макулатура" и, проводя инвентаризацию, перечеркнул махом и жизнь генеральского сына, и безукоризненную аккуратность добровольного писаря. Без колебаний он занялся настоящими бумагами и не снизошел до личной расправы над папкой. Каким-то чудом, а возможно, стараниями младшего архивиста дело перекочевало на полку, получило номер, а значит, уравнилось в правах с другими единицами хранения и восстановило с ними родство по всеобщей связи людей и событий.

Свидетельствует директор Никитского сада действительный статский советник Щербаков — будущий профессор, чью фотографию я видела в Никитском музее. Пышные кайзеровские усы, лихо закрученные и сведенные на нет по обе стороны крупного носа. Облик внушительный, степенный...

"Будковский был хорошим учеником и вел себя безупречно. В характере его наблюдались замкнутость и сосредоточенность. Всегда он был одиноким и не принимал участия в увеселениях товарищей..."

Меньше всего ожидала подобной искренности. Вдолбленное в голову представление о том, что самоубийство — малодушие, что к нему прибегают только неполноценные, мешало. Я ждала привычного: "в пьяном угаре", "психически неуравновешенный". Просто, доступно, ни к чему не обязывает и всех устраивает: застрелился — туда и дорога. Но этих слов не нашла и дальше, где аккуратный эконо записал показания преподавателя Андрея Ивановича Паламарчука:

"Я подумал, что у него пошла кровь горлом, и скорее повернул его лицом вверх, затем стал выслушивать сердце — оно уже остановилось, хотя тело было совершенно теплое. Заподозрив совсем скверное, я принялся осматривать подробно голову Будковского и заметил ожог от выстрела на виске. После этого я нашел на его шинели револьвер. Шинель ввиду болезненного состояния — у него был переломлен позвоночный столб — Будковский всегда носил..."

Гоголевская интонация слышалась в последней фразе. Двадцативосьмилетний питомец Московского университета физиолог Паламарчук, которому суждено вывести знаменитый табак с душисто-арифметическим названием "Дюбек-22", говорил как на страшном суде. Шинель носил всегда!

И снова архивные странички с остатками сургуча, запекшегося, как кровь. Письма, телеграммы, объяснительные... Увы, бумага оказалась прочнее участников той давней истории. Житейская суэта, будничные мелочи — их лучше не знать: они создают ощущение, словно листаешь дело о собственных похоронах.

Предсмертной записки, где Будковский завещает свой гербарий любимому учителю, нет, но текст ее приведен директором — горькая самооценка и неожиданное добавление: "Прошу дорогого Ивана Алексеевича принять на добрую память..." Вероятно, Иван Алексеевич взял и записку — то небольшое, что мог теперь сделать для своего лучшего ученика. Сноска директора — крестик, маленький, как цветок сурепки, — выделяет последнюю фразу Будковского, к ней пояснение: "Преподаватель училища Промтов". Тот самый Промтов. Его фамилия уже попадалась на одном из секретных документов, уведомлявшем: "Ни в чем предосудительном не замечен". Будущий автор муската "Красный камень". Значит, дорогому Ивану Алексеевичу, тогда преподавателю истории и словесности, передал Будковский самую большую свою ценность — гербарий. Но что за странная тяга к белым цветам? Только они и привлекали ученика: подснежники, анемоны, нарциссы — одного цвета со снегом, первыми распускаются, дрожа на ветру, и засыхают, не зная тепла.

Следующая бумага резко отличается от других, в траурной рамке, с надписью "Большой выбор гробов", — счет от погребальной конторы Барильо: "Итого 23 руб." По тем временам немалые деньги, если вспомнить, что месячное жалованье магистра ботаники, например, — десять рублей. Не тот ли самый Барильо, что выстроил мини-

стерскую дачу в центре ботанического сада? Двухэтажный архитектурный сундук, отделанный под орех, с буфетной, кухней, дегустационным залом и другими помещениями пищевого назначения. А может, его отец? В 1887 году (я хорошо запомнила дату: сто лет назад) какой-то Барильо исполнил государственный заказ, скрывавший милую прихоть министра государственных имуществ Островского. В самом сердце ботанической коллекции сей муж отечества пожелал обосноваться и возвести дачу на казенные деньги, разумеется. И директор сада (был поставлен Базаров) воспринял это как божью милость. С истинным почтением и совершенной преданностью для начала он послал под топор шпалерное отделение, утопающее в персиково-альчевых цветах, а затем, размахнувшись, очистил и соседние участки. Падуб мадерский; пурпурный бересклет из Флориды; крушина альпийская; магония из Китая; вечнозеленая этрусская жимолость; земляничник... Список истребления так же велик, как перечень вещей высокопревосходительства, ввезенных на дачу: иконы Спасителя, святого Козьмы, Божьей Матери, а также кушетки, комоды, пуфики, стулья... И наконец, под номером 147 — ночная ваза, собственность господина министра.

К пяти десятинам усадьбы присоединили семь кварталов парка, проложили дорогу для возки дров в кипарисовой аллее, устроили фонтан, вы-

Ялта. — Рисоваль Грансиръ.



рыли выгребную яму — и резиденция готова. Почтения ради чиновник особых поручений попросил господина Базарова — конфиденциально — устроить его высокопревосходительству какой-нибудь сюрприз, нечто специфическое, например, выстричь деревья у въезда так, чтобы как некий вздох сквозило "О" — инициал господина министра. Да вот досада, на въезде росли острая пампасная трава и юкка с ножевидными листьями.

Вместе с фундаментом для дачи его высокопревосходительство заложил традицию истребления сада, подхваченную потомками и доведенную нашими современниками до совершенства. Теперешним достойным преемникам останется скоро забетонировать море и на всех папках архива написать "макулатура", и следующим поколениям будет что разоблачать. Из-под груды мусора они извлекут папку с тронной речью директора-выдвиженца, произнесенную в далеком 1934 году: "Мы должны озеленить нашу жизнерадостную страну бесподобными деревьями и цветами. Мы должны разнести ароматы эфирососов на счастливые колхозные поля. Этому нас учит гениальный садовник цветущего социалистического сада освобожденного человечества..."

А начиналось уничтожение благородно. С инструкции: "Для всех чинов министерства, приезжающих по делам службы". Правда, никто, кроме министра, не ездил сюда, но это уже не важно. Следом за государственным деятелем прибывали пирожковые и десертные тарелки, блюда, соусники, салатники, горчишницы, компотницы, ножи мясные, овощные, фруктовые, а также передники для прислуги, тюки с бельем, занавески, гардины, ковры, куски коленкора, плюша, бахромы, а кроме того ушаты, скалки, лопатки, керосиновые лейки, трубы для самоваров, ящики с нарзаном...

Десять лет Базаров встречал их, препровождал нарочных, посылал в ялтинскую ресторацию за формами льда, а в магарачский подвал — за лучшим вином, составлял списки желаний его сиятельства, а через месяц, после отбытия высокого гостя, принимался за ремонт дома, сообщаясь то с каменщиками, то с печниками, обойщиками, мебельщиками... И так до тех пор, пока не выхлопотал себе должность в ученом комитете министерства и не переехал в Петербург. Перед отъездом он, правда, успел сделать в ватерклозете черный ход, а уж на выполнение иных желаний высокопревосходительства не хватило времени. К тому же следовало подумать и о собственном будущем.

Алушка. Рисоваль Грансиръ.



Ведь неподалеку... даже страшно сказать, почти рядом, в Ливади, изволят отдыхать государыня императрица. Ну почему бы не вспомнить про успехи акклиматизации растений, бывшие у предшественников? И — чем черт не шутит! — не представить к стопам венценосной дамы жардиньерку из бамбука, выросшего в императорском саду? Не нахлобучить на нее вазон с заморской пальмой, воспитанной здесь же?

И вот он — случай! Государыня в обществе великих князей вздумала посетить ботанический сад, загодя отправив в Никиту навьюченную прислугу, чтобы там, чего доброго, не помереть с голоду. И тут выручила пустая министерская дача, особенно кухня с обширной изразцовой плитой. Их величество с многочисленной свитой по прибытии сразу же уселись за стол. Затем осмотрели дом, не найдя, очевидно, в ботаническом саду ничего более достойного внимания. Далее им угодно было расположиться в тени на часок-другой, и на том, поостыв от государственных дел, они закончили знакомство с миром растений. А будущий член ученого совета, провожая монархические экипажи звонким "ура!", благословлял день, когда подрядчик заверил подписью обязательство: "Я, Барильо, принимаю на себя постройку двухэтажного каменного дома с галереей..." и т.д. и т.п.

После доблестного завершения работ он, Барильо, и завел погребальную контору, которая обслужила позднее Будковского. Ведь деньги не пахнут ни казнокрадством, ни безнадежностью.

Впрочем, дачи давным-давно нет. Памятник высокопоставленного плебейства не выдержал землетрясения. Но оставят ли пустым благодатное место? Чуть ниже, у берега моря, там, где взору министра открывался лазурный природный амфитеатр, на щедрой земле Никитского сада (не зря же кто-то в порыве восторга назвал ее клочком Италии, приросшим к суровой Скифии) стоят бетонные корпуса современных представителей власти — десятка-другого сановников с прочими, умеющими жить в свое удовольствие, а чуть выше, на скале, пробитой тоннелем, — чайный домик представителей ведомства. А левее — укрытый элегантными криптомериями теремок слуг народа. Теперь не нужны царские тропы, чтобы спускаться к берегу, достаточно в лифте надежной фирмы "Люфтмерхен" нажать кнопку "море" — и даже оно, торжественное и великое, у твоих ног.

Еще одна фигура — главный иерарх, высшая инстанция, которой подчиняется сад. Сейчас Константин Леонидович глянет пленительнейшими глазами и скажет то, что говорил год и два назад: "Принято постановление нашей геронтократии... Ни сантиметра... От исконных земель... Приумножение генофонда... Охрана и заповедование... Улучшение водоснабжения..." И вознесет светлый взгляд к небесной сфере на потолке кабинета с астрономической толкотней планет возле светила.

Копия такого постановления есть у меня. Со внушительным росчерком самого. А велик ли толк? Что увидела я, когда пошла по своим прошлогодним следам? Прямые дорожки, асфальт, плиточное покрытие, тумбы — без искры божьей, без колдовства. Ничего не изменилось. Деревья по-прежнему обрастают бетоном; новая дорога рассекла заросли лавровишни — зеленым коридором они выводят на пустырь, а взамен романтиче-

ской стеклянной оранжереи... и говорить не хочется.

А ветерок тормозит страничку архивного дела с подклеенной телеграммой: "Приехать не могу".

Телеграмма пришла, когда ученика уже отпели, похоронили и составили опись его нехитрых вещей: часы глухие с цепочкой, кошелек с деньгами (1 руб.35 коп), несколько экземпляров журнала "Пробуждение", записная книжка с заметками... Конечно же, директор не может пренебречь просьбой опекуна, заключающей телеграмму, и деликатно сообщает обстоятельства, зачеркивая слова и подбирая нужные:

"Особенно грустен стал он после смерти своего отца осенью 1912 года. Какая-то тоска и апатия одолели его, он по целым дням молчал, отделяясь от расспросов односложными фразами. В отпуски почти никуда не ходил и время каникул проводил тоже в училище..."

Щербаков пишет и матеке, тем более что ее требование: "Немедленно известите..." — сопровождается оплаченным ответом. "Примите, милостивая государыня, уверение в моем совершенном почтении", — заканчивает он послание, а когда она вскоре приезжает из Одессы в Ялту и останавливается на даче знакомого генерала, директор, наверное, с той же почтительной настойчивостью отвечает на ее нервные вопросы и совершенно ясно говорит, что вещей в обыкновенном смысле слова у ее пасынка не было, а то, что способно таковыми именоваться, сдано в полицейский участок, и помощник пристава Никольников расписался в приеме.

Пошла ли она в класс, где он уткнулся в дубовый пол, или встретила с тем, кто первый поднял тревогу, а может, подробности лишь расстроили бы ее слабое здоровье, и она уехала, не отрыв души для них? Да и какое, собственно, это имеет значение?

Был праздник Белого цветка. Раньше был такой праздник. В этот день ученики обычно вили гирлянды. Возле министерской дачи стоял автомобиль, который им поручили украсить. Они шумно взялись за дело, время от времени поглядывая на малиновые драпировки в окнах: не мелькнет ли красивая дочка смотрителя, имевшая обыкновение кататься по саду на велосипеде, а тот, с кем она недавно столкнулась и кому со злостью сказала, потирая ушибленную руку: "Я возвращаю вам несчастный гербарий. Вы — не рыцарь. Вы — жалкий смешной поляк!" — прятал на груди предсмертную записку...

В пустом училище тишина. Слышен лишь шелест глицинии, укрывающей здание. Гроздья нежно-сиреневых завязей колышутся в солнечной зелени...

Черные дрозды метнулись от выстрела и на секунду умолкли. И чуть сильнее прежнего качнулись длинные гроздья. Больше никто не встревожился. Просто один из учеников вздумал украсить цветами свой класс и побежал с букетом... Единственное, о чем Будковский просил, — хоронить без религиозных обрядов.

Директору стало жаль сироту, он не решился провожать его в последний путь без прощального слова и пригласил ксендза. Скорее всего он потом раскаялся, раздосадованный лишней морокой. Меловая бумага все объясняет — на бланке римско-католического прихода. Отпевание?.. На каком основании? Его высокопреосвященство требует резон. А тут еще ксендз не отстывает от

своего: не уплатили за службу. А ведь он ехал в праздничный день, за шесть верст от Ялты, да и приход его малочислен и беден, никакой поддержки от правительства — одна надежда на верующих, и от состоятельных за отпевание в черте города приличествует рублей двадцать пять, а уж за чертой...

Деньги мачеха не рискнула перевести, отсылая к опекуну. И на ее новое письмо директор смиренно отвечает:

"Залог, который внес генерал-майор Будковский при поступлении сына в училище, выплачен погребальной конторе Барилью. Примите, милостивая государыня, уверение в моем совершенном почтении".

А опекун? Где голос крови? Кажется, родственник не торопится с долгом. А знаменитый польский гонор? Или бумаги утрачены? Листаю, листаю, листаю. Вот! Страничка в линейку, вырванная из тетрадки, — желтые пятна времени на щегольских размашистых буквах. Я закрываю глаза. Неужели и здесь ни капли сочувствия, хоть словечко...

Он велеречиво рассыпается, скрадывая обыкновенный торг. Стоило ли ради этого напоминать о себе через полгода? Словно весть шла с далекого острова Ява, а не со станции Корец Новоград-Волынского уезда. Именно Новоград-Волынского — так и значится в обратном адресе. Мало приятная подробность. Еще немного и выяснится, что опекун — далекий родственник какого-нибудь моего знакомого: ведь одно время я училась в городе Новоград-Волынском.

"Сначала — вещи покойного Николая Будковского малой скоростью, после чего последуют десять рублей для ксендза..."

Я закрыла папку, и мне захотелосьдохнуть свежего воздуха.

По скалистой тропе я спустилась вниз, к морю.

Тень от веток шевелилась на ступенях, кое-где на них осыпались сиреневые лепестки цветущего ладанника. Его кустики ютились на каждом освещенном пятачке, облепленные глупенькими молодыми цветами. На миг в сознании мелькнула строка подобно отголоску поспешного отпевания: "Ваши пальцы пахнут ладаном..." Милая старомодная нежность, истраченная на романс, никакого отношения к Будковскому, и все-таки... Вот что записал он, например, после смерти отца:

"Во дворе, у клумбы, можно перевести дух от боли. Дождь стекает с моего зонта, одна из капель падает в белую чашечку, обращенную к хмурому югу; ее совершенная красота обретает мгновенное сияние и никнет своим желтым наивным глазом от нового удара капли. Почти прозрачные лепестки уже разъедены траурной влагой. К вечеру они совсем потемнеют, истончатся, затем смешаются с землей. Белые, анемичные, щемящие... Больше у меня никого нет. Холодно. Зимно. Бардзо зимно".

Опекуны, ксендзы, мачехи, разные барилью, высокопреосвященства, министры и прочие высшие инстанции, маленькие и большие вершители судеб с очками и цепями шли за мной по пятам. Я слышала, как летели камешки из-под ног. Тучей вились москиты и слепни. Голоса жужжали над ухом. Господин министр обращал внимание на недостаточность ризницы в Никитской церкви и поручал заказать полное облачение для священнослужителей. Архиерей возмущался тем, что отхожие места помещены под алтарем, и директор сада предлагал выдвинуть их в пристрой-

ку. "Мускат белый, мускат розовый, Совиньон из подвалов экспериментального винозавода, заизюмленные тона с шоколадным оттенком", — диктовал чиновник особых поручений и бетонных корпусов. А там компанию уже развлекал приголубленный шут профессор: "Бокал следует брать за ножку, а женщину ниже талии". И только действительный статский советник Щербаков пытался восстановить с межевым инженером границы сада, докладывая главному иерарху: "Никитский сад теряет земли, а главное — физиономию изолированного учреждения".

Достоинное сопровождение в ад, готованный самоубийцам! Преданные мне до гроба сделают все возможное, чтобы с этой дороги я не свернула. Поддержат под руки, утешат и намылят веревку. Под нарастающий гул бетонной машины.

К причалу подошел катер, и на весь берег загремела музыка. Голоса сразу стихли. Вскоре катер повернул в сторону Гурзуфа; сошедшие экскурсанты потянулись долгой цепочкой вверх, к пепельной оливковой роще. Голубоватая, таяла вдаль Ялта.

Был полдень, когда последний раз я взглянула на часы. С тех пор прошла вечность и еще семьдесят четыре года, месяц и двадцать дней, отсчитанные от праздника Белого цветка. Но что изменилось? Одной банальной историей больше, одной меньше. Едва не угодившая в макулатуру, чтобы обернуться страничкой "Королевы Марго" или "Сказок Шахразеды", она вряд ли кого-то тронет. Пытливый современник жаждет другого. Сколько раз я прислушивалась к нему, что сейчас могу позволить себе не соглашаться ни с кем. И тихо-тихо, почти шепотом, рассказать о маленьком Человеке, о своем брате, трижды убитом: сначала житейским холодом, потом пулей, а теперь вот роцкером тупого карандашного грифеля. Рассказать ближе к старому тексту с ятями и твердыми знаками о том, как выпал букет из рук ученика, вбжавшего в мертвый класс. Представьте, в училище пусто, бездонные коридоры, вы открываете дверь, а там... Ничего особенного, лицом вниз. Вытянутый. Неподвижный. На шинели — солнечный блик. Ползет только красная лужа. Лучше на помощь звать тихо. Мир видел столько мертвых, что мог бы сойти с ума. Но ничего — скрипит. И время от времени жаждет возмездия. Сокруши-тель-ного!!! Мир уходит в крик. И по-прежнему стынет в деревянной скорби над гробом чужого пасынка Божья Матерь, роняет восковые слезы, и светится бледный веночек в ее кипарисовых пальцах. Где-то в девятьсот тринадцатом.

На обратном пути у подъема на гору меня кто-то окликнул. Передо мной стоял директор сада. Не призрак действительного статского советника Щербакова, а нынешний, Петр Аркадьевич, преемник вековой бетонной традиции: под его руководством в очередной раз перекроили ботанический сад ради курортного культпросвета. В его вятском говоре угадывался Урал и солнечный снег, памятный с детства, когда короткое время пришлось пожить на реке Чусовой.

Люди, не признающие полутонов, считали нас врагами из-за пустяка — из-за расхождения относительно изящного садоводства, самой капризной области красоты, последний мастер которой скончался больше ста лет назад. Мне почему-то казалось, что этот незабвенный художник (его имя достойно упоминания — Пюклер-Мускау), будь он жив, взял бы мою сторону. Конечно, он не



одобрил бы крикливых нововведений, навязанных Никитскому саду, — всех этих косых углов, прямых линий, бетонных площадок, а также прочего застойно-провинциального модерна, включая и корпуса для высокопоставленных курортников. Ему вообще нравилась незаплеванная патриархальная классика. Он и воплотил свой вкус в родовом парке Мускау, который не имел равных в мире.

Сначала Маэстро творил его собственноручно, а затем — пустившись в скитания, так что управляющему надлежало исполнять распоряжения, посылаемые из разных концов света. Плавающие мексиканские сады, игрушечные японские бонсаи, парки Китая, России, Англии, головокружные версальские боскеты... Два года он изучал их, правя на расстоянии с такой точностью, словно возил Мускау в кармане. Потом он вернулся, чтобы самому продолжить работу, навсегда склонившись в пользу естественного стиля, не чуравшегося жизни — фабричных стен, мельниц, плотин.

В память о Мускау Пюклер удлинит фамилию, когда, разорившись, продал имение какому-то принцу и забрался в глушь. Но и здесь однообразие унылой равнины стало действовать ему на нервы, мешая сочинять "Записки покойника". Старик князь отложил перо и потихоньку взялся за прежнее: сотворил озеро, окружил его холмами, воздвиг лесок... От этого занятия его оторвал Господь, призвавший к себе как самого опасного соперника. С Пюклером-Мускау умерло в 1871 году поклонение природе, облагороженной до идеальной красоты, и уважение к характеру самого не приметного ландшафта.

Но Петра Аркадьевича не вдохновляло имя забытого мастера. Иерархия, к которой Петр Аркадьевич имел честь принадлежать; была с ним в состоянии необъявленной войны. Моего спутника не трогало и то, что Пюклер отстаивал каждую ложбинку, бугорок, струйку воды перед самим королем, если его величество осмеливался соваться в чужую работу. Директор продолжал говорить про распоряжение свыше, про народ, сотни тысяч экскурсантов... Мне делалось грустно, потому что он был искренен.

И я рассказала о папке, а еще о том, что косо и очень мелко кто-то черкнул по ней: "Макулатура".

На меня смотрели круглые невиноватые глаза со светлыми ресницами, они усиливали выражение испуга и вызвали обычную человеческую жалость.

Я перевела взгляд на море. Уж не оно ли, слишком ласковое, сделало меня слепой? Хотя напрасно винила я море. Наши с директором пути пересеклись, как линии оптического прицела. И это было так же ясно, как то, что убит Будковский, и то, что с легкой руки министра государственных имуществ Российской империи Никитский сад стал вотчиной утомленных мужей отечества.

Реакция директора удивила меня. Путаюсь, смущаясь и сбиваясь на косноязычие, он выразился в том духе, что вроде как бы, это самое, понимаете... и нельзя оставить все так, ну, в устном рассказе... А? Надо бы закрепить. Это был психолог, изучивший человеческие страсти гораздо лучше, чем изящное садоводство и ботанику, а затем встревоженным голосом начал уверять, что самоубийство — грех и священник, совершивший обряд, нарушил заповедь.

И тут мой доброжелатель запнулся. Кажется, в ту минуту он тоже услышал грозное рычание гербового льва. И мерный гул бетономашин, накапливающей дикую инерцию разрушения. Оранжевая платформа на колесах действительно протряслась мимо, обдав нас жарким смрадом. Она сметала, крушила, давила. На лице директора появилась замороженность, но через минуту он деловито ступил на колею, оставленную колесами, и поправил ее крепость. Похоже, его сразу одернул кто-то из невидимой свиты, следующей за мной по пятам. Великолепный густой бас с характерным латгальским акцентом мог принадлежать лишь главному иерарху. "Надо пожалеть", — приказал он. И Петр Аркадьевич виновато улыбнулся, послушно договорил: "Нельзя, это самое... переутомляться. Нужна маленькая разрядка".

Что-то трогательное померещилось в его беспокойстве. Я не привыкла к тому, чтобы другие оберегали мое душевное равновесие. Неужели ему не все равно?..

Мы расстались у пропускной будки. Дежурная торопливо открыла ворота на пляж, потом накинула на них скобку, кандальную цепь и замок, поправила табличку с изображением оскаленной собачьей морды, а директор, очутившийся по ту сторону, заспешил вдоль аллеи акаций. Дежурная скрылась в тени. Сверху я видела, как по набережной проползла его осторожная машина.

Ну почему обыкновенное внимание стоит мне мучительной благодарности? Было же время, когда только его я считала виновником всех бед сада. А теперь он в ответе лишь за то, что приписан к делу, заведенному, отлаженному и набравшему

обороты помимо него. Правда, Петр Аркадьевич нес службу со рвением. Но ведь каждый соответствует должности в меру наклонностей. Известно же, люди неисправимы: одним — власть, другим — прозябание до праздника Белого цветка, третьим — посмертное воскресение и то самое, всегда запоздалое, торжество справедливости. И нет примирения между ними, его не дано.

Машина директора еще не скрылась, а меня уже охватило сомнение: точно ли я запомнила его последние слова?

— Когда, говорите, это самое? — хмуро спросил директор.

— Что?..

— ... случилась эта история.

— В 1913-м.

— На сто первом году жизни сада.

Счет поразил и меня. Директор не отделял судьбу Будковского от истории сада. Да и разве вся наша жизнь — не сад, подстриженный, прореженный, забетонированный? Столько людей, да что там! — целые народы ушли в макулатуру, стерты войнами, революциями, конвейерным уничтожением. После них — лишь фантомная боль, та, что мучает инвалидов. И вот она настаивает где-нибудь в архиве, врастает, как древоядник в кору, и ноет, мешает жить. И ты не можешь больше читать записки кота Мурра, а думаешь о белом гербарии, который давным-давно превратился в труху...

Предсмертную записку нашли на груди при осмотре тела. Уездный врач подал конвертик Андрею Ивановичу Паламарчуку и, приподнявшись, отошел в сторону.

"Тяжело умирать, не будучи удовлетворенным в жизни, без сознания, что выполнишь честно свой долг перед обществом. Дальнейшее существование бесцельно и ведет к новым страданиям. Прощайте".

Николай Будковский сложил секретку и запечатал ее за два дня до праздника. Слабое оживление заметили в нем товарищи. Позже они скажут помощнику пристава, что в последнее время Будковский повеселел. Накануне праздника он даже признался, что ему приснился чистый снег, и кто-то заметил: "Будковский, тебе даже во сне холодно?" Говорили о гирляндах, о распоряжении директора декорировать автомобиль. И, ложась спать, попросили Будковского, встававшего первым, разбудить их пораньше...

Запах глицинии остановил меня на последнем участке подъема. Он плыл и плыл от террасы моего дома, окутанной дымчато-сиреневым цветом. В нем было дыхание давнего апрельского утра и тишина праздника, разбитого пулей. И по мере того как я приближалась, запах делался сильнее и горше. Но вот ветер изменил направление. И опять неуловимый, бесследный, как облик Будковского, который не суждено увидеть даже на фотографии, как его последний взгляд, обращенный к сиреневым гроздьям, он поплыл где-то стороной.

В холле ко мне устремилась дежурная.

— Вы из архива? — спросила она, и законный интерес к истории обозначился на ее лице.

— Почти ...

— Вы про Молотова ищите документы?

После нескончаемых споров в Москве, после горячего разномыслия, которое конъюнктурные пророки называли русской Вандеей, услышать осточертевшее имя здесь! О Господи. А Будковский? Но я не рассердилась. Ботанический сад,



учрежденный французом Дюком де Ришелье и обрусевшим шведом Христианом Стевенем, в знак глубочайшей признательности к ним действительно носил имя министра иностранных дел Молотова.

Еще минута, и дежурная назовет второго ангела-хранителя Никитского сада — Лысенко, с которым его соединяли пути сельскохозяйственной академии. Пусть только специалисты решат: история это или бред жизни.

*Мир был хлопотным, мир был чудным,
Под туманом юным, тревожным,
А теперь, в этом веке безлюдном,
Стал пустынным он и несложным...*

Однако дежурная хотела услышать что-то другое.

— На всякий случай запомните, — сказала она. — Когда Молотова расстригли, памятник его возле купоросного бассейна подлежал ликвидации. Его заключили в клеть, и он стоял как арестованный. Потом на него натянули холстину, чтобы не смущать иностранных гостей. И так он простоял еще, пока не нашли технику. Это у вас в столице шито-крыто, по ночам, втихаря, а у нас выносят при стечении народа...

В комнате по-прежнему было солнечно и так же слышались волны. Кажется, ничто не изменилось, и только папку с делом Будковского раскрыла тень земляничника.



ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

12 и 13 МАРТА 1907 ГОДА

Заседание открыто в 11 ч. 7 м. Председательствует Ф. А. Головин.

Деп. А. Стахович (к.-д. Орл. губ.). По поручению лиц, внесших предложение об отмене военно-полевых судов, предлагаю думе поставить этот вопрос в первую очередь.

Деп. — монархисты Пуришкевич и гр. Бобринский, октябристы Шидловский о Синадино и умеренные — крестьяне Петроченко и Гаврильчик высказываются за то, чтобы обсуж-

дение законопроекта о военно-полевых судах было отложено. Деп. Шингарев (к.-д.) и Алексинский (с.-д.) высказываются за неотложность. Очевидно большинство решило поставить вопрос о военно-полевых судах в первую очередь. Против этого голосовали лишь правые.

Деп. В. М. Гессен (к.-д. г. Спб.). Господа народные представители, вопрос о военно-полевых судах в настоящее время находится в следующем положении. Как вам известно, военно-полевые суды учреждены были в порядке ст. 87 основных законов Высочайше утвержденным мнением совета министров. Согласно той же 87 ст. основн. закона положение это те-

Печатается по изданию: "Военно-полевые суды. (Отчет Государственной Думы)". С.-Петербург. 1907.

следы минувшего

ряет силу и значение военно-полевых судов упраздняется, если в течение двух месяцев со времени начала занятий в г. думе не будет внесен в думу соответствующий этой мере законопроект или если законопроект будет отклонен г. думой или гос. советом. Своей декларацией, прочитанной пред нами, председатель совета министров, упоминая о всех мерах, принятых в порядке ст. 87 и подлежащих внесению в государственную думу, о военно-полевых судах по правилам 19 августа, не упомянул ни слова. Отсюда естественный вывод, что правила 19 августа министерство не предполагает вносить в государственную думу или потому, что оно считает совершенно безнадежной всякую попытку провести закон о военно-полевых судах через государственную думу, или потому, что оно полагает, что задача военно-полевой юстиции в достаточной мере осуществлена. Оно, по-видимому, соглашается на то, чтобы спустя 2 месяца после открытия государственной думы временный закон о военно-полевых судах утратил свою силу. Таким образом, 20 апреля, то есть спустя 2 месяца после открытия занятий в государственной думе, закон о военно-полевых судах умрет, так сказать, своей собственной смертью, но до 20 апреля этот закон будет применяться, действовать. Подобно тому как со времени открытия занятий государственной думы уже имелись неоднократно случаи применения смертной казни по приговору военно-полевого суда, так точно и в течение времени вплоть до 20 апреля такие случаи неоднократно будут иметь место. Отношение государственной думы, или по крайней мере ее огромного большинства, к вопросу о военно-полевых судах представляется совершенно определенным и недвусмысленным. Недаром председатель совета министров, говоря в своей декларации обо всем, о военно-полевой юстиции предпочел целомудренно умолчать. Бывают меры, о которых не решаются говорить даже те, у кого достаточно решимости для того, чтобы пользоваться ими. Но какое дело генерал-губернаторам, от которых зависит предание военно-полевого суду, какое им дело до мнения государственной думы о военно-полевой юстиции? И, разумеется, нельзя сомневаться в том, что наши военно-полевые администраторы не расстанутся с военно-полевыми судами до тех пор, пока это отравленное оружие правительственного террора не будет вырвано из их рук.

Предлагая вниманию гос. думы законопроект об отмене военно-полевых судов, мы исходим из того убеждения, что немедленная отмена военно-полевой юстиции, сокращение ее действий, хотя бы на несколько недель, является священной обязанностью гос. думы, и вместе с тем мы желаем категорически установить невозможность существования, органическую несовместимость народного представительства, основу правового государства, с военно-полевой юстицией. Естественно возникает вопрос, в состоянии ли мы, внося наш законопроект об отмене военно-полевых судов, в состоянии ли мы действительно прекратить их и какими мерами? Я отвечаю на этот вопрос — не в состоянии, если министерство пожелает воспользоваться предоставленным ему по закону правом требовать месячной отсрочки обсуждения законопроекта гос. думы. Внося этот законопроект, мы исходили из той мысли, что министерство не пожелает и не решится воспользоваться этим правом. В свое время, в первой гос. думе, министерство потребовало месячной отсрочки обсуждения законопроекта об отмене смертной казни, ссылаясь на чрезвычайную сложность этого вопроса. Само собой понятно, что в вопросе о военно-полевых судах подобная ссылка совершенно немыслима, тем более что суды эти обречены на отмену. Нельзя, в самом деле, серьезно доказывать, что военно-полевая юстиция необходимо должна функционировать до 20 апреля и ни одного дня меньше, и что повинность крови должна быть уплачена народом сполна, и что поэтому генерал-губернаторы не могут быть лишены права еще нескольких действительных или предполагаемых преступников приговорить к смертной казни. Если бы министерство пожелало в настоящее время лишить нас возможности немедленного обсуждения вопроса об отмене воен-

но-полевых судов, оно заговорило бы с государственной думой тем самым языком ненависти и злобы, которым, по заявлению председателя совета министров, он не считает возможным говорить с государственной думой. Исходя, таким образом, из уверенности в том, что государственной думе будет предоставлена возможность немедленно приступить к обсуждению вопроса об отмене военно-полевых судов, полагаю, что ввиду чрезвычайной простоты и несложности этого вопроса он не вызовет ни в государственной думе, ни в государственном совете сколько-нибудь продолжительных прений. Партия народной свободы поручила мне и моим товарищам внести этот законопроект в государственную думу в надежде на то, что спустя несколько дней по принятии его государственной думой и государственным советом и по утверждении его монархом он станет законом. Предлагаю вам, г. народные представители, приступить к обсуждению вопроса об отмене военно-полевых судов, мы предлагаем вам сделать один шаг, один из многих еще предстоящих нам шагов к умиротворению страны. Отчаянием и ненавистью больна великая душа русского народа. Над землей нашей родины, обильно орошенной кровью и слезами, клубятся отравленные туманы, ползут ядовитые испарения, и тот, кто ими дышит, становится их жертвой, он убивает, умирает, отравленный отчаянием и ненавистью. Для того чтобы умиротворить страну, необходимо остановить руку палача, необходимо осушить землю от крови и слез. Если мы желаем умиротворения страны всеми силами нашего разума, всеми силами совести нашей, мы должны восстать против безумной политики правительственного террора, который толкает страну на путь террора революционного. (*Неясный взгляд справа*). Мы хорошо знаем, что отменой военно-полевых судов мы, разумеется, делаем слишком мало для умиротворения страны. В этом отношении перед нами еще много тяжелых и неотложных, ожидающих немедленного разрешения вопросов. Но военно-полевая юстиция — это символ семимесячного междудумья. Начнем с отмены военно-полевых судов. Мы не в состоянии вырвать из нашей истории той кровавой страницы, на которой в назидание потомству изображены деяния военно-полевой юстиции. Перевернем эту страницу скорее! Пусть настоящее как можно скорее станет прошлым, о котором не только мы, но наши дети, внуки будут вспоминать с отвращением и со страхом.

В настоящее время на очереди дня поставлен вопрос о направлении дела об отмене военно-полевых судов. Оставаясь в пределах таким образом поставленной задачи, мы предлагаем думе: 1) передать внесенный в думу законопроект об отмене временного закона 19 августа в комиссию из 16 лиц, подлежащих избранию в сегодняшнем заседании, обязать их представить проект в окончательной форме в течение 24 часов; 2) признавая вопрос неотложным, предоставить г. председателю думы назначить его слушанием по возможности в один из ближайших дней.

(*Аплодисменты центра и части левых.*)

Деп. Константинов (*мирн. обл. Новг. губ.*). Мне думается, что введение военно-полевых судов не достигло той цели, для которой они учреждались. Думали, что введением этих судов можно будет успокоить страну; однако достигнуто было как раз обратное явление. Военно-полевые суды не образумили страны, напротив, они развращали тех, которым приходилось сталкиваться с действиями этих судов.

Я расскажу случай, слышанный мною от очевидца, которому приходилось, как начальнику карательного отряда в Прибалтийском крае, приводить в исполнение приговоры военно-полевого суда. Там был один приговоренный к смертной казни. Его вывели на место казни и привязали канатом. Начался расстрел. При первом залпе он падает, взмахивает руками и кричит: "Да здравствует свобода!" Я спрашиваю: разве этот человек, при иных условиях жизни, не был бы самым лучшим человеком нашей дорогой, пострадавшей родины? (*Аплодисменты на скамьях левой и центра.*) За что же нас лишили этого человека? Я спрашиваю, в чем же преступление его? Не

в том ли, что всем светом признается как высшее начало, — в борьбе за свободу? И такого человека предадут смертной казни. Образумило ли это общество? Нет, господа, результат получился совсем другой. Военно-полевые суды поставленной цели не достигли и общество не образумили. У нас может быть только один суд — суд присяжных заседателей, суд народный.

Мы далеки от мысли оправдывать террористические акты; мы осуждаем насилие с той и с другой стороны. Повторяю, — военно-полевые суды не достигли той цели, для которой были созданы: содействовать успокоению страны. Поэтому я полагаю, что предложенный законопроект совершенно ясен и передавать его в комиссию не нужно. Его нужно принять сейчас. Этого требует наша общая свобода! (*Аплодисменты.*)

Деп. Ширский (*с.-р. Куб. обл.*). Господа! Военно-полевые суды, которые по какой-то иронии судьбы, явно оскорбительной для всех лиц, имеющих отношение к суду, названы судами, имеют одну хорошую сторону: они совершенно ясно обнаружили всю наглость, обнаружили весь правительственный произвол. В самом деле, нужно ли кому-либо, даже самому наивному обывателю, говорить, что этот суд, без обвинителей и без свидетелей, в 24 часа решающий дело, — не суд, а административная расправа. И теперь, когда собралась и действует дума, и когда правительство в лице министерства сделало заявление конституционного характера, быть может, возможно, — я допускаю мысль, — что само министерство не станет отстаивать военно-полевые суды. Обыватели будут рукоплескать думе за то, что она отвергла эти суды; иностранные газеты, не зная России, точно так же будут говорить о том, что министерство желает пойти в этом деле навстречу думе; но ведь мы-то, живущие в России, хорошо знаем, что и после отмены военно-полевых судов все средства насилия и произвола останутся в руках правительства. Поэтому если мы не хотим того, чтобы госуд. дума, отвергнув только одни военно-полевые суды, тем самым, так сказать, создала для правительства возможность — если оно пойдет на это (я думаю, что пойдет) — сказать, что "вот мы идем навстречу этой думе!", — должно высказаться одновременно, что и другие средства произвола, как, например, военные суды, должны быть также отвергнуты. Какая разница, если будут расстреливать и вешать не в 24 часа, а в 124? Нужно уничтожить не военно-полевые суды только, а вообще все военные суды. Я хочу только сказать, что госуд. дума должна провести с максимальной поспешностью этот закон об отмене военно-полевых судов, а затем с такой же поспешностью обратиться к установлению другого закона об уничтожении всех исключительных положений, военных и чрезвычайных охран. Об этом-то народническими группами, т.е. социалистами-революционерами, народными социалистами и трудящими, в ближайшее заседание думы и будет внесен законопроект. (*Аплодисменты.*)

Деп. Кузьмин-Караваев (*демокр. реф., Твер. губ.*). Есть вопросы, о которых говорить спокойно совершенно нет возможности. Я напомним только о тех ощущениях, с которыми я всходил на эту кафедру в начале мая прошлого года, чтобы протестовать против смертной казни и доказывать необходимость ее отмены. Я, да и все мы были тогда под впечатлением сотен казней, теперь же мы находимся под впечатлением целой тысячи казней, совершенных в течение времени с сентября по 1 февраля. Можно ли быть спокойным в ту минуту, когда впервые можно во всеулышание говорить об этом и протестовать против этой ужасной крови, которая лилась так долго, лилась с такой поспешностью, с такой энергией, которая едва ли знакома и Китаю? Военно-полевые суды суть не что иное, как орудие более скорого, более удобного уничтожения человеческой жизни и пролития крови. Военно-полевые суды — это учреждение, которое необходимо должно быть отменено, и отменено безотлагательно, которое в культурном государстве одного лишнего дня существовать не может. Вот почему я горячо приветствую почин партии народной свободы, внесшей законопроект об отмене военно-полевых судов, хотя, быть может, законопроект этот получит силу закона лишь за несколь-

ко дней до срока существования этих судов, т.е. до 20 апреля. Я не сомневаюсь, что в этом зале подавляющим большинством голосов был бы отвергнут проект министра об учреждении военно-полевых судов как постоянного органа юстиции, если бы такой проект закона был внесен. Но если нам удастся добиться отмены этого закона хотя бы за несколько дней, за неделю, за две до срока, мы должны помнить, что это будет значить спасение от смерти нескольких человек.

Военно-полевые суды есть орган юстиции, совершенно беспримерный на всем земном шаре. Был сделан ряд слабых попыток объяснить, что это не русское учреждение, что это учреждение даже сейчас существует в австрийском законодательстве. Мало кто знаком и с русским военно-уголовным правом, а знакомых с иностранным тем менее. Военно-полевые суды по внешним условиям своей организации воспроизвели ту форму суда, которая существовала в средних веках в Западной Европе. Это воспроизведение так называемых шандрехтов — стоячих судов, которые применялись при совершении крупных правонарушений на поле сражения. Постановления были очень просты. Если солдат совершал бегство с поля сражения, передавался неприятелю, убивал начальника, то военная община тут же собиралась, судила, выносила приговор, и сейчас же этот приговор самими судьями приводился в исполнение: осужденного поднимали на копьях. Отсюда и название суда "суд длинных копий". Но если это и было, то это было в средние века. И, обратите внимание, это было специальное судилище в войсках для осуждения за преступные деяния, совершенные на поле сражения и очень очевидные. У нас же эта форма суда существует для осуждения граждан и для осуждения за чрезвычайно длинный, я скажу — бесконечно длинный ряд преступных деяний, охватывающих не только деяния, совершаемые очевидно, но и деяния как фактически, так и юридически чрезвычайно сложные. 23 августа был опубликован закон о военно-полевых судах; а уже 12 октября, — если мне не изменяет память, — состоялось первое разъяснение этого закона советом министров. Это разъяснение включило в число преступных деяний, за которые лицо может быть предаваемо военно-полевому суду, хранение и передача взрывчатых веществ или снарядов, т.е. деяния, несомненно сложные, которые требуют продолжительного рассмотрения.

А до тех пор, — до тех пор отдельные генерал-губернаторы объявили, что все что угодно будут предавать на рассмотрение военно-полевых судов. Мы не знаем отчета о деятельности этих судов, такой отчет никому не известен. Но мы знаем, что быть может, люди — и есть полное основание так думать — не раз предавались военно-полевому суду за кражи, за вымогательства, за оскорбление должностных лиц, а не только за убийства, за нанесение ран или даже побоев. По крайней мере, об этом оповещал двинский генерал-губернатор в своем приказе, отданном в начале сентября. Он требовал, чтобы военно-полевым судом разбирались все преступные деяния, до оскорбления должностных лиц включительно. Военно-полевые суды уже засвидетельствовали свою деятельность невероятным числом ужасных судебных ошибок, и этих ошибок не могло не быть при тех условиях, при которых эти суды действуют. Я напомним вам о том ужасе, который был вызван известием из Одессы, — известием из частного источника: официальных известий мы не имеем, но это частное известие не было опровергнуто, — известием о том, что в Одессе были казнены 4-5 чел., и затем было обнаружено, что эти лица были вовсе не причастны к тому деянию, за которое лишены жизни. Точно такие же ошибки были в Иркутске, Красноярске и других городах, да они и не могли не быть. При таких условиях деятельности военно-полевых судов никакой человек не может быть застрахован от ошибки. Но время действия военно-полевых судов приходит к концу. Быть может, нам удастся, как я говорил, несколько ускорить смерть этого учреждения. Но нельзя на этом остановиться и надо подумать о прошлом. Правда, это не даст возможности исправить в громадном, в подавляющем большинстве совершенные ошибки. Из тысячи с

лишком дел, рассмотренных военно-полевыми судами по 1 февраля, в 950 случаях были вынесены смертные приговоры. Но военно-полевой суд 85 лицам назначил лишение свободы, ссылку, преимущественно на каторжные работы. Вспомните, господа, всякий раз, когда каждый из нас прочитывал известие, что военно-полевой суд присудил то или другое лицо вместо смертной казни к каторжным работам, у каждого из нас вырывался вздох облегчения, что они не расстреляны или не повешены, что возможно еще в будущем останетесь на том, виновны они или не виновны. А ведь вместо смертной казни в подавляющем большинстве случаев военно-полевой суд назначал бессрочные каторжные работы. Кто может иметь уверенность в том, что лицо, отбывающее наказание на каторге по приговору военно-полевого суда, отбывает это ужасное наказание не по судебной ошибке, не безвинно? Вот почему одновременно с отменой военно-полевых судов должен наступить пересмотр в обыкновенном судебном порядке всех тех приговоров, по которым возможно еще исправление ошибок. А потому в законопроекте об отмене военно-полевых судов необходимо указать и то, что не приведенные в исполнение по день издания закона приговоры военно-полевых судов не должны быть исполнены. Ввиду этого я позволю себе представить госуд. думе дополнение к законопроекту, внесенному партией народной свободы, и это дополнение, если госуд. дума сочтет необходимым передать вопрос в комиссию, также передать как материал той же комиссии. Я предлагаю внести в этот законопроект в качестве ст. 2 следующее: приговоры военно-полевых судов, по сей день состоявшиеся, но не исполненные, не приводить в исполнение, о чем представляется председателю совета министров известить генерал-губернаторов, главных начальников и облеченных их властью лиц по телеграфу. В качестве же ст. 3: "все дела, по коим состоялись постановления о передаче их военно-полевым судам, образованным на основании Высочайше утвержденного 19 августа 1906 г. положения совета министров, — не приводить в исполнение, а передать эти дела в общие судебные места для направления и рассмотрения по правилам устава уголовного судопроизводства". Я говорю, не только для рассмотрения, но и для направления, так как нельзя забывать, что это дела, по которым никогда в этом порядке не производилось даже предварительного расследования.

Я разделяю мысль, высказанную членом думы Ширским, что за этим шагом должно наступить следующее — полное освобождение граждан от военной подсудности. Мне, специалисту вопроса, много лет занимавшемуся изучением военно-уголовного права, не видно никаких решительных оснований, никаких оправданий к тому, чтобы военный суд рассматривал дела о гражданах. Это нарушение основных принципов судопроизводства должно быть отменено. Этот вопрос будет рассмотрен хотя бы в связи с законопроектом об отмене исключительных положений, пока же смешивать вопрос о военно-полевых судах с этим общим вопросом нельзя. Военно-полевые суды должны быть отменены немедленно. Когда мы приступили к этому вопросу, раздавались голоса, требующие вопрос отложить. Лично считаю, что это невозможно, вопрос слишком острый. Лица, недостаточно познакопившиеся с объяснительной запискою к законопроекту, могут ознакомиться с нею в течение прений. Не знаю, придется ли услышать здесь слово в защиту военно-полевых судов. Я не могу себе представить, как можно защищать это учреждение. И я смею надеяться, что государственная дума примет предложение единодушно и единогласно. *(Аплодисменты центра и левой, а также на некоторых скамьях правой.)*

Деп. Булат *(трудовая Сувалк. г.)*. От имени трудовой группы и крестьянского союза имею честь заявить, что мы всецело присоединяемся к тому, что военно-полевые суды должны быть отменены немедленно, и дума должна принять все меры к ускорению этого вопроса, но мы находим, что полевые суды — лишь маленький уголок в кровавой эпопее бюрократического разбоя...

Председатель. Прошу таких выражений не употреблять.

Деп. Булат *(продолжает)*. Мне кажется, что если военно-полевые суды могли быть отменены, то может быть внесен коротенький законопроект, выражающийся в строчках: "положения о чрезвычайной усиленной охране отменяются"; затем другой законопроект: "военное положение применяется только к местностям, угрожаемым неприятелем или в случае вторжения неприятеля, в других случаях оно никоим образом не может быть применимо". Говоря об этом вопросе, я обращаюсь к союзу русского народа, так как военно-полевые суды обязаны своим существованием отчасти этому союзу. Если присмотреться к некоторым данным из бюрократического календаря, то мы увидим, что суды эти передали Россию во власть иностранцу: в Вильне действовал Фрезе, в Петербурге действовали гг. вроде фон дер Лауница и Клейгельса, в Москве — Рейнбот, в Варшаве — Скалон, в Одессе — Каульбарс...

Председатель. Все перечисленные лица — русские подданные. *(Аплодисменты слева.)*

Деп. Булат. Но правые нам указывают, что здесь говорят люди не с русскими фамилиями. Напоминаю, что когда Церетели говорил от имени социал-демократов, то кто-то высказал радость, что говорил человек не с русской фамилией, поэтому я привел целый ряд фамилий, чтобы тоже высказать радость, что главными деятелями военно-полевых судов были люди не с русскими фамилиями. *(Аплодисменты слева.)* Так как мне дозволено только говорить о военно-полевых судах, то я, надеясь, что скоро будут внесены законопроекты о положениях, о которых я упомянул, заявляю, что мы, конечно, присоединяемся к отмене военно-полевых судов. *(Аплодисменты слева.)*

Деп. Шульгин *(монарх. Вологодск. г.)*. Мне кажется, если положить в основание суждения неверную точку зрения, то и все выводы будут неверны. Это несчастное недоразумение произошло со всеми, кто говорил до сих пор. В самом деле, представьте себе, что кто-нибудь будет убедительно и красноречиво доказывать, что солдатские штгики никуда не годятся, потому что ими нельзя пахать поле. Это будет, конечно, совершенно верно, но разве таково назначение штгики, разве им нужно пахать мирную пашню?

То же нужно ответить говорившим здесь, что полевые суды нарушают основные гарантии правосудия. Главная сила этих судов в том, что наказание непосредственно следует за преступлением — сегодня бросил бомбу, а завтра повесили. Тот, кто имеет бросить бомбу послезавтра, задумается над этим. Кроме того, при полевых судах преступник не надеется, что он избежит суда и что какой-нибудь революционный переворот (как то было после 17 октября) освободит его до суда.

Разумеется, полевые суды не годятся для мирного времени. В них всегда возможны печальные судебные ошибки, это вне всякого сомнения; но мне непонятно, как это партия народной свободы, столь чуткая в данном случае к интересам правосудия, так боящаяся невинных жертв, говорящая, что ее священная обязанность сократить даже дни существования института военно-полевых судов, — как эта высокогуманная партия должна отнестись к революционным судам, которые в таинственном, никому не ведомом подполье выносят смертные приговоры и самым зверским образом приводят их в исполнение. Как должны были бы к.-д. громить этих темных юристов, руководимых не законами, а только ненавистью. Кто спрашивает там подсудимых, кто там защитник, кто устанавливает факт преступления? Я думаю, что все партии, горячо протестующие против невинной крови, должны со всей силой красноречия крикнуть: "остановитесь, безумцы!" Если вы не хотите военно-полевых судов, остановите революционные трибуналы, ибо нет сил смотреть на то, что они делают. Но партия народной свободы этого никогда не скажет и никогда не говорила. Она рукоплещет, когда слышит о новом убийстве.

(В центре крики "ложь". Слева: "довольно!" Председатель просит оратора так не выражаться.)

Деп. Шульгин. Я принимаю к сведению замечание председателя, но поясню, что я имел в виду факт, как было принято



известие о покушении на генерала Дубасова. *(Справа аплодисменты. Слева и в центре крики "ложь!")* В газетах этой партии никогда не было ни одного осуждения политических убийств. Напротив, убийц называют борцами за свободу, говорят, что они герои. Я полагаю, что военно-полевые суды кого-то устрашают. Я это замечаю из того, что до их введения очень редко бомбисты и револьверщики на месте преступления кончали с собой. С начала же действия военно-полевых судов такие действия очень часто повторяются. Очевидно, у преступников очень уменьшилась надежда, что они спасутся от правосудия, и они предпочитают сами покончить с собой. Но, разумеется, если партия народной свободы или какая-нибудь другая предложит нам проект, который будет лучше уничтожать зло и пресекать его в самом корне, если будет предложен способ привлечь к ответу не сумасшедших и маньяков, а тех, кто их посылает, тех, кто открыто пишет и говорит, если будут попадать такие личности, как известный писатель-убийца... *(Голоса: "Крушев!")* Нет, не Крушев, а В.Г.Короленко, убийца Филонова. *(Движение слева.)*

Председатель. Прошу не касаться личностей.

Деп. Шульгин. Так вот, если сумеют привлечь настоящих виновников, мы с удовольствием пощадим несчастных бомбометателей. Позвольте еще указать, что если кара за преступление находится в соответствии с правосознанием народным, тогда выступает и действует самосуд. Он наблюдается и в России, и в других странах, даже таких культурных, как Америка, — суд Линча. Но еще более грозное явление случилось у нас в последнее время на Руси; это — тот самосуд, который называется еврейскими погромами. Разумеется, как это всегда бывает в таких случаях, народ не способен отличить виновного от невинного. И вот, по крайней мере у нас, вся вина была свалена на евреев, и среди них пострадали именно невинные (виновные все удрали за границу). Я думаю, что если в настоящее время удастся отменить военно-полевые суды, то следствием этого будет самосуд в самых ужасных формах. Я поэтому думаю, что если мы не хотим толкать народ на это, если мы

действительно задаемся гуманными целями, то будем стоять на следующем: пусть вешают настоящих преступников, чтобы не гибли невинные! *(Аплодисменты справа, шиканье центра и левой.)*

Деп. Крушев *(монарх. г. Кошен.)*. Всего, что здесь говорилось в пользу отмены военно-полевых судов, ни один культурный человек не может не разделить. Это такая старая история, о которой человечество в течение последних ста лет говорит беспрерывно. Еще накануне Французской революции Вольтер протестовал по поводу одной предстоящей казни. На протяжении целого века все лучшие умы протестовали против всяких насилий. И все мы, выросшие на высоких идеалах европейской и русской литературы *(смех на левых скамьях и в центре)*, так же, как они, относимся к этим ужасам. Но прежде чем в наше ужасное время срывать ту цепь, которая мешает многим безумцам совершать новые преступления, госуд. дума должна обратиться к ним, должна им высказать свое порицание, и только тогда, мне кажется, она будет иметь нравственное право на отмену мер, вызванных жизнью. Говорили об ужасах военно-полевых судов, о том, что могут произойти юридические ошибки, но умалчивали о тех злодеяниях, которым нет названия на человеческом языке и которые, если бы сегодня отменили военно-полевые суды, неизбежно усилились бы. Мы видим, что волнение, переживаемое нашей страной, постепенно распространяется и перебрасывается на новые очаги пожара, на другие страны. Уже сегодня это движение началось в Румынии. Вы знаете, что там движение возникло не только на почве аграрной, но и на почве еврейского вопроса, т.е. пищей для него послужил тот же горючий материал, который имеется у нас постоянно. Когда депутаты партии народной свободы говорили о том, что мы уже не раз читали в еврейской печати, а именно относительно необходимости отмены смертной казни, они не попытались, однако, охарактеризовать значение современного, революционного движения в стране и, главное, не сказали, что рядом с этим движением накипает новый порыв, надвигается на страну, может быть, но-

вый смерч. Здесь так много говорили о народе и его благе, что я считал себя вправе отметить еще один из факторов той грозной революции, которая надвигается на нас, один из факторов движения, вспыхнувшего в Румынии в связи с quasi аграрным вопросом. Этот фактор имеется и у нас в Бессарабии и в Херсонской, Екатеринославской губернии, а также на западе России. Вы, защитники народа, частью не знаете, а частью, может быть, умалчиваете о том экономическом гнете, о том рабстве, которое угнетает прежде всего крестьян; вы допускаете умолчание в самой постановке аграрного вопроса. Многие из вас не знают о том, что между помещиками и крестьянами стал посредник. (*Голоса: "К делу!"*)

Деп. Крушеван (*продолжает*). Но это именно к делу и относится, потому что только этим способом я могу сделать вывод, с которым, надеюсь, и вы согласитесь (*смех левой и центра*), я знаю, что вы боитесь этой темы, но она будет здесь подчеркнута, так как это мое право, "право свободного гражданина" (*смех слева и в центре*), и я скажу: посредники, стоящие между помещиком и крестьянами, арендуют у помещиков землю и сдают ее крестьянам. У нас, например, эти посредники снимают у помещика десятину земли за 10 р., а передают ее крестьянам по 20-30 рублей. И так как у нас, в Бессарабии, благодаря этим посредникам сдаются таким образом сотни десятин земли, то в одной Бессарабии крестьяне платят лишний налог в 5 миллионов руб., в десяти же губерниях налог этот составляет 50 миллионов рублей. Вот откуда идет движение, называемое аграрным, вот откуда идет закабаление народа, его эксплуатация, в которой главную роль играет еврей. (*Смех левой и центра.*) Вследствии указанного возникло аграрное движение в Румынии, откуда оно, может быть, перебросится и к нам. Возвращаюсь к военно-полевым судам. Вы хотите отмены этих судов?! Я сам стою за их отмену, потому что тогда, когда отменяют полевые суды, крестьянам дадут возможность защищать свое святое право; только тогда крестьян не будут вешать, а сначала выслушают о злоупотреблениях над ними (*слева доносится: "намекаете на погромы"*). Поэтому я стою за отмену военно-полевых судов; только отмена даст право крестьянам устоять в борьбе с эксплуататорами, заставляющими печать молчать о действительном положении народа.

Деп. Пуришкевич (*монархист*). Полученный сегодня доклад от партии народной свободы я прочел, и меня удивило то количество макиавеллизма, которым проникнут этот доклад. Он меня удивляет с первой до последней строки. (*Шум в центре.*) В речах говоривших здесь ораторов были допущены фигуры умолчания по отношению к действительному положению вопроса и значительный пафос по поводу казней, не имеющих места в двадцатом веке. Господа, неужели вы полагаете, что кто бы то ни было из нас, сидящих здесь на правых и левых скамьях, а также в центре, мог бы спокойно, положив руку на сердце, сказать, что мы являемся сторонниками военно-полевых судов и смертной казни. Господа, неужели же русский народ и, в частности, славяне с их яркой гуманностью применяли бы сильные меры наказания, если бы для них не представлялось необходимости.

Со времени Ярослава Мудрого поднят в России вопрос о том, чтобы смертная казнь не применялась, и мы ли, мы ли, господа, чуждаемся положений, провозглашенных Монтескье, Беккарией, положений, которые вошли в наказ Екатерины Великой. Об этом не может быть речи. Но мы переживаем ужасное время, тяжелое время, смутное время. Для такого времени должны быть, конечно, другие мерки, другая оценка. В прошлой думе депутат Родичев, говоря об амнистии, указывал на то, что заниматься здесь нельзя до тех пор, пока кровь туманит очи. Он говорил: "Мы не в состоянии спокойно работать, сознавая, что столько жертв томится в тюрьмах и пало от правительственного меча". Гессен говорил сейчас о том же. Но, господа, я позволю себе вам осветить другую сторону. Я позволю себе напомнить вам о тех, которые пали при исполнении служебного долга, поставленные к исполнению его госу-

дарственной службой. Не пали ли за последние годы князь Сергей Александрович, Сипягин, Плева, Боголепов, Чухнин, Богдановичи, Вонляровский, Блок, Луженовский, Слепцов, Сахаров, Павлов, Лауниц, Мин, Александровский, Игнатьев, Плахов, Старенкевич, Келеповский и др.? Назвать ли всех? В прошлом году вы, здесь сидевшие, позволили себе крикнуть: "Мало!" Господа, я вас спрошу: а где убийцы, все ли они вздернуты и получили муравьевский галстук? Где Мария Спиридонова? Сазонов, Герщуни и Бондаренко? (*Шум и свистки слева и в центре.*)

Но вы, кивающие постоянно на Запад и вечно ищущие на Западе примеров, знаете ли вы, как караются там преступления, за которые у нас ссылают, а не вешают?

Я укажу на Францию. Я скажу, что во Франции смертная казнь за преступления применялась не только во время французской коммуны 1871 года, а с гораздо большей строгостью во время президентства Карно. Больше скажу, там разницы не существует между политическими и уголовными преступлениями. Господа, так на Западе, а у нас?! Нет, мы вечно стремимся подражать Западу, но в данном случае, когда нам это невыгодно, мы стараемся усиленно забыть о его существовании; здесь говорят нам: "убийцы — это правая сторона", т.е. мы, представители права и порядка. Здесь указывается на дело Герценштейна. Смешно говорить об этом по возводимым обвинениям. Я вам, господа, позволю себе сказать: убийцы не здесь, на правых скамьях, убийцы сидят налево, ибо это те лица, которые смело причисляли себя к фракции, открыто подающей заявление от имени социалистов-революционеров. (*Возгласы: "К порядку... Уважение к депутатам."*)

В доказательство я приведу нижеследующие аргументы. Я позволю себе прочесть постановление стокгольмского съезда партии социалистов-революционеров: "Заседание 3 января 1906 г., чтение товарищем Тучкиным доклада комиссии о том, продолжать ли террористическую тактику. По вопросу о терроре комиссия прежде всего считает необходимым усилить центральный политический террор и подчеркивает особенное значение для настоящего времени массовой партизанской борьбы. Под массовой партизанской борьбой следует понимать непосредственное и возможно более широкое участие масс в боевой деятельности за свой страх и риск, выражающееся в нападении на мелких агентов правительственной власти в одиночку и группами: напр., городовых, жандармов, шпионов, земских начальников. Такие нападения способствуют формированию боевых сил, но происходят вне контроля партийной организации. Местный политический террор должен происходить под обязательным контролем комитета, но ввиду того, что в настоящее время комитеты ослаблены, контроль должно передать в группу областных организаций. Более сложные террористические акты должны быть по тем же соображениям выполняемы летучими полевыми дружинами, обслуживающими более широкие районы. По вопросу о прекращении террора комиссия полагает, что он должен быть применен до полного завоевания фактических свобод, и только тогда центральный комитет может приостановить террористические акты".

Председатель государственной думы. Оратор! Считаю долгом заметить, что то, что вы читали, неизвестно насколько разделяется членами думской фракции. Таким образом, вы читали то, что к делу не относится. Прошу вас впредь таких выдержек не читать.

Голоса с места. Я прошу дать мне слово к порядку дня.

Председатель государственной думы. После обсуждения вопроса.

Деп. Пуришкевич (*продолжает*). Теперь я никому никаких упреков не бросаю, но не далее как вчера я прочел в "Новом Времени", что партия с.-р. распространяет извещения о том, что пристав охтенской ч. Радзиевский смертельно ранен в ночь на 3 марта по приговору партии. Товарищ, приведший приговор в исполнение, скрылся. Подписано: организация боевой дружины и центральный комитет партии с.-р. Я вполне

понимаю, господа, что можно поднимать вопрос об отмене военно-полевых судов, о том, чтобы уничтожена была смертная казнь; можно поднимать целый ряд других филантропических вопросов. Но я отказываюсь понимать, как могут с подобного рода вопросами выступать представители тех крайних партий, которые если еще не кооптированы революционной кликой, тем не менее открыто заявляют, что принадлежат к ней. Вот, господа, в силу одного только соображения я не могу допустить не только возможности отмены смертной казни, но нахожу, что всякого рода предложения, отсюда раздающиеся, суть глумление над русской совестью, над совестью русского народа.

Я говорю: нам не следует и не с руки обращаться с подобно рода ходатайствами, мы должны откинуть эту доброту, с позволения сказать — это лицемерное ходатайство Понтия Пилата; мы должны с полной силой показать народу и престолу, что мы люди порядка, и установить этот порядок. И тогда с сознанием исполненного долга и верой, что наши слова эти найдут искренний отклик, мы можем просить об уничтожении смертной казни и об уничтожении военно-полевых судов, имея порукой будущей спокойствия, связанного с этим актом, пример достигнутого нами и действительностью нашей умиротворения страны.

Деп. Маклаков (к.-д. г. Москва). Я бы хотел вернуть прения к настоящему вопросу, а потому оставлю без ответа те обвинения, с которыми один из членов думы счел себя вправе выступить, основываясь на никому не известных документах по поводу части собрания. Возвращаюсь поэтому к вопросу о военно-полевых судах. Говоря о нем, я хотел бы стать на точку зрения наших противников, скажу более — на точку зрения автора этих судов. В первый день, когда читалась декларация совета министров, как кто-то справедливо отметил, о военно-полевых судах не было ничего сказано. У всех была надежда, что эти суды умрут естественной смертью. Но мимоходом в ответной речи председателя совета министров было указано на точку зрения, которую, очевидно, оправдывали печальные исключительные временные меры. Председатель совета министров сказал, что власть — хранительница государственности, что, ударяя по революции, пришлось не щадить интересов частных лиц. Я совершенно согласен с первым положением. Да, власть есть действительно хранительница государственности. Я приветствую ту власть, которая этого не забывает. Но я обращаюсь к тем, кто произнес эти слова, и к тем, кто им аплодировал: неужели вы не видите, что военно-полевые суды есть учреждение глубоко антигосударственное? Что одно только номинальное существование этого закона, если бы он даже и не применялся, уничтожает государство как правовое явление и превращает его в простое сосуществование физических сил? Максимум сверху и снизу. Вы хотите устранить революцию строгими репрессиями; с моей точки зрения, это путь ненадежный. Но тех, кто думает так, я спрошу: что значит бороться репрессиями? Это значит издать закон, то есть общее для всех правило, которое увеличит уголовную кару для всех, кто совершит определенные преступления. Это значит издать закон, который применялся бы ко всем судам, равным для всех.

Скажем, не только убийство должностного лица, но даже словесное его оскорбление карается смертной казнью. Закон об этом был бы свиреп, жесток, но это было бы правовое явление, это было бы нечто не допускающее произвола — общие правила, для всех одинаковые, это был бы единственный путь, которым может идти государство. Но, господа, есть нечто, чего всегда боится наше правительство, это — общий закон. Иным путем пошла наша власть, когда в 81 году было издано печальное положение об усиленной охране. наших законов не изменили, мы по-прежнему можем гордиться, что у нас не так, как в Англии, что у нас не только за кражу, но и за убийство смертной казни не существует. Но у нас существует другое. У нас администраторам дано право законы не соблюдать... Знаете ли вы статью 17 пол. усил. охраны? Она предоставляет генерал-губернаторам право рассматривать в военном суде отдельные

дела по их усмотрению, когда они признают это необходимым. Не общий закон, а усмотрение генерал-губернатора определяет норму, которую применяют к подсудимому. Вот почему на практике у нас происходит то, что является загадкой и для нас, и для Европы. В одном случае за убийство министра военный суд вешает, в другом случае за то же самое судебная палата ссылает на каторгу. В течение одного года мы знаем случаи, когда вешали за убийство городского и не вешали за убийство министра. Словом, нет общего закона, нет суда, а для каждого отдельного случая есть усмотрение генерал-губернатора. Но военно-полевая юстиция по этому пути идет еще дальше. По усмотрению генерал-губернатора виновные предаются военно-полевому суду. Мы совершенно не знаем, под каким законом мы живем, какому закону подлежат то или другое деяние: судебной ли палате, военно-окружному или военно-полевому суду. Решение вопроса в каждом отдельном случае предоставлено усмотрению генерал-губернатора. Но когда есть три закона, я скажу, что нет вовсе закона. Это не строгость репрессии, а полное отрицание всяких норм права и законности. И это у нас, где уважение к авторитету суда и закону и так подорвано. У генерал-губернатора три закона в кармане, и он может применить любой из них. Пред ним подсудимый, которого он может посадить на какую угодно скамью подсудимых. Военно-полевая юстиция отрицает закон, она подкапывается под главный устой государственности — под непоколебимую силу закона. Но военно-полевые суды сделали больше... Я согласен с тем из ораторов, который оскорблялся мыслью, что военно-полевой суд называют судом. Нет суда там, где нет свободы репрессий.

Военно-окружной суд имеет право смягчать наказания. Не таково положение об усиленной охране. По усмотрению генерал-губернатора применяется кровавая статья 18 положения, из которой исхода нет, которая карает смертью за самые разнообразные деяния. Прав был г. Пуришкевич, сказав, что военные суды и виселица — одно и то же.

По закону военному суд может смягчать наказание по самой строгой статье. Но наши военные суды лишены фактически и этого права, хотя соответствующая статья закона официально не отменена. У нас существует тайный циркуляр 1886 года, которым военный министр сообщил военно-окружным судам о тайном Высочайшем повелении, которым судьям воспрещено пользоваться этой статьей. Когда появились ужасные приговоры, и мы обращались в главный военно-окружной суд, последний ссылался на Высочайшее повеление, устраняющее право суда пользоваться общим законом.

Называйте военных судей как угодно, называйте их палачами, я не буду их так называть, их, жалких исполнителей сурового долга, но называть судом учреждение, где нет свободы судейского суждения, — невозможно.

Военно-полевые суды пошли еще дальше. У военных судов оставалась возможность рассматривать вопросы факта, например, они могли признать, что, скажем, в данном случае насилие не совершилось или что было совершено лишь покушение и т.п. Этого нет в военно-полевых судах. Здесь не юристам, людям, окутанным сетью тайных циркуляров и разъясненным, людям, никогда не бравшим в руки юридической книги, приходилось приговаривать к смертной казни. Военно-пол. судьи лишены права вникать даже в фактическую сторону дела. В указе от 19 авг. прямо сказано, что военно-полевые суды применяются в тех случаях, когда преступление настолько очевидно, что нет надобности его расследовать. Господа, эти слова предрешают приговор суда. Нужно гражданское мужество, и его у военно-полевых судей часто не бывает. Господа, передача вопроса суду, который является учреждением, существующим для того, чтобы выносить смертные приговоры, — это насилие над судейской совестью.

Нам говорили, что, ударяя по революции, нельзя было не задеть частных лиц, но здесь были задеты не частные лица, здесь были уничтожены основы государственности. Я думаю, господа, что ошибочно будет ударять по революции. Я не ме-

нее вас хочу конца революции, я жду того момента, когда насиле, самосуд исчезнут. Я жду, когда закончится революция и начнется мирное преуспевание. Но этого не достигнуть ударами по революции. Вы хотите добить революцию, но вы добьете государство. *(Бурные аплодисменты.)*

Председатель совета министров говорил нам, что ошибки быть могут, людям свойственно ошибаться, увлекаться и даже злоупотреблять властью. Но какие же меры приняты против этих злоупотреблений? 10 октября был разослан циркуляр генерал-губернаторам, в котором указывалось на злоупотребления военно-полевых судов. Циркуляр этот как бы признал, что генерал-губернаторы предрешают смертную казнь. И что же? Спустя несколько дней в Москве генерал Гершельман приказал военно-полевому суду вопреки циркуляру от 10 октября рассмотреть вторично дело, которое уже прежде было разобрано военно-полевым судом. И что же? Человек, который так злоупотребил властью, находится до сих пор у власти. По этому поводу мы предъявим в свое время законопроект... Наши противники справа говорят, что стоит добиться прекращения убийств снизу — и все успокоится. Я сам хочу успокоения, но разве вы забыли, что, подавляя военно-полевыми судами революционные волнения, вы подавили закон, вы уничтожили государственность? Разве идея государства оттого, что вы пошли по пути своих врагов, стала ценнее? *(Бурные аплодисменты.)*

Как ни ужасен террор снизу, но еще ужаснее дело полевых судов. Я понимаю ужас, когда расстреливают на улице, но этот ужас ничто в сравнении с ужасом военно-полевых судов. В первом случае есть надежда спастись, есть возможность убежать. А у вас? У вас приводят человека перед четырьмя офицерами и объявляют ему о смертной казни, против которой нет жалоб. Ему говорят о казни как будто для того, чтобы посмеяться над ним, над его родными, которые знают, что через два часа его, молодого и здорового, уже не будет в живых. Его везут к виселице, как скотину на убой, и в присутствии доктора, прокурора и священника, кощунственно присутствующих, убивают публично. Вот весь ужас убийства, ужас, который превосходит все эксцессы революционных ужасов. По части жестокости вы с вашими военно-полевыми судами побили всякий рекорд. *(Бурные аплодисменты в центре и слева.)*

Я возвращаюсь к началу своей речи. Государство может жить только по закону. Нельзя защищать произвол, нельзя не сознавать ценности человеческой жизни. Военно-полевые суды позор. Они ввели в нашу систему порядок, абсолютно несовместный с понятием государственности. Если слова председателя совета министров не только слова и обещания, то правительство присоединится в этом вопросе, и военно-полевых судов в России больше не будет. *(Громкие аплодисменты в центре и слева. Председатель объявляет перерыв на 1 час.)*

Заседание возобновляется в 3 ч. 17 мин.

Деп. Новодворский *(коло пол. г. Варш.)*. Господа народные представители! От имени всей польской группы, т.е. 46 депутатов, я должен заявить, что эта группа всецело присоединяется к сделанному предложению о законопроекте на предмет отмены военно-полевых судов. Польские депутаты заинтересованы в этом как представители края, который весь находится на военном положении, в котором повсюду издаются и исполняются смертные приговоры военно-полевых судов. И сейчас, сегодня, телеграмма говорит, что когда мы здесь рассуждаем об упразднении военно-полевых судов, там, в Ленчице, только вчера казнены по такому приговору.

Здесь много говорилось об ошибках военно-полевых судов: помните, господа, было два случая после произнесения смертных приговоров военно-полевым судом, когда убедились в невинности обвиняемых лиц в Лодзи, после произнесения приговора начальник сысского отделения Николаев убедился в невинности обвиненного, ночью направился к генерал-губернатору, умолял его о приостановке приговора и успел добыть доказательство невинности. Другой случай: 2 ноября в гор.Новая-Александрия военно-полевым судом был приговорен к

смерти 21-летний Адольф Собинский. Господа, были несомнимые доказательства его невинности.

Доказательства его невинности были налицо, но свидетелей тех, конечно, не допросили. И помимо свидетелей было и вещественное доказательство оправдания: остался журнал несчастного юноши, его записная книжка, из которой ясно видно, сколь светлая личность пала здесь от расстрела, на который обрел Собинского приговор того, якобы, суда. Таких случаев много, но не время здесь говорить о них; зато здесь время напомнить, что и те лица, которые с этой трибуны защищали необходимость и целесообразность полевых судов, в защиту их говорят: "не ищите в них средства правосудия; для этого они негодны, но они — пригодное орудие войны!" Итак, если защитники института военно-полевых судов прямо так и заявляют, что здесь нет суда, а есть только орудие борьбы, то сама эта защита является ярким осуждением правительственного насилия, прикрывающегося маскою суда.

Здесь сегодня в стольких речах достаточно ясно и ярко было указано, что так называемые полевые суды — произвол, самовластие и насилие. Да исчезнет же оно с лица земли! Ради этого от имени лиц, которые поручили мне взойти на эту трибуну, от имени польской группы в числе 46 депутатов, я всецело присоединяюсь к предложенному законопроекту. *(Аплодисменты на скамьях центра и части левой.)*

Деп. Бобин *(к.-д.г. Яросл.)*. Военно-полевые суды не соответствуют тому уровню гуманности, которого мы наконец достигли. Может быть, это наша слабость, но наши нервы не выдерживают тех ужасов, которые происходят в настоящее время. *(Взволнованным голосом оратор продолжает.)* Мы знаем, что прокуроры, которые были и присутствовали при исполнении приговоров военно-полевого суда, прокуроры, которые присутствовали вообще при смертной казни, впадали в припадки падучей болезни; мы знаем, что доктора в настоящее время отказываются присутствовать при смертной казни. Мы знаем, что солдаты не переносят этого и сходят с ума! Я вам расскажу, каким ужасом был охвачен Ярославль, когда распространилась весть о казни Малаевой, только что окончившей год тому назад гимназию: дети не желали идти в школу, пели и свистели в школе, производили беспорядки, и попечительное начальство угрожало, что дети будут наказаны за проявление своего сочувствия, начальство жаловалось, что дети их не слушают. Мы знаем, какие игрушки дает настоящее время нашим детям, это игрушки ужасные: в играх у них практикуется смертная казнь, у них фигурирует виселица.

Когда я шел в думу, я видел в окне магазина открытки с видом заспиртованной головы убийцы градоначальника. Наши дети проходят мимо этих открыток писем и, может быть, дети государственных сановников будут наполнять свои драгоценные альбомы этими снимками, мы дошли до такого ужаса, что должны положить ему предел. Почему мы испытываем холод, когда перед нами выступают представители министерств? Я не буду перечислять тех недостатков в управлении, которые могут быть поставлены в счет; но я за себя скажу, что испытывал внутренний холод, потому что за этими лицами я чувствовал присутствие тех лиц, которые исполняют свою работу до зари.

Не осложняйте решения конституционно-демократической партии; принимайте законопроект как можно скорее и не осложняйте его возможными поправками. Этот законопроект должен быть принят немедленно, в 24 часа, и затем мы верно и твердо пойдем по пути отмен и других явлений, позорящих нашу жизнь.

Деп. Булгаков *(к.-д. Орл.г.)*. По тому волнению, по той страстности в речах, которые звучат почти у всех говоривших, очевидно, что сегодня идет дело не об обычном и об очередном предмете парламентской работы. Сегодня идет речь о том, чем болит народная совесть, что волнует всякого. Без преувеличения могу сказать, что нас здесь слышит вся Россия, весь мир. Когда обсуждался вопрос относительно того, целесообразно ли вносить сюда законопроект об отмене военно-полевой юстиции, то для меня было ясно, целесообразно это или нет, но

нельзя об этом молчать. Совесть народная не может не обличить свою душу после тех ужасов, которые мы пережили. Целый ряд ораторов пытались защищать или вообще обсуждать вопрос об отмене военно-полевой юстиции. Другими словами, по многочисленности смертной казни с точки зрения целесообразности, с точки зрения борьбы с террором, борьбы с крамолой я вполне понимаю, что с этой точки зрения можно давать различные ответы и придти к различным результатам. Но я хочу поставить вопрос на высшую точку зрения, на которую он должен ставиться в вопросах совести, на точку зрения высшей правды, которая должна царить над правом. Эта правда не может быть отвергнута, эту правду признало и правительство, а затем и председатель совета министров.

В декларации мы слышим, что русское правительство есть правительство христианское и что православная церковь является церковью господствующей. Значит учение Христа признает и русское правительство и допускает над особой верховную норму. И нам самим предоставляется сообразовать свои действия соответственно этому и тем самым получить право их оценивать. Что же говорит нам учение Христа? Когда после декларации председателя совета министров здесь выступил православный епископ и стал говорить слова умиротворения, после того, как обратился с приглашением к осуждению политических убийств, я ожидал (*оратор продолжает взволнованным голосом*), что он сделает поворот к министерским скамьям и скажет: остановите пролитие крови, отмените военно-полевые суды. Но пастырь этого не сказал. Если бы это было здесь произнесено властным голосом пастыря, господствующего над совестью правительства, этот день был бы одним из торжественнейших, счастливейших дней моей жизни. Но я этого не услышал. Однако другой епископ торжественно провозгласил здесь, что убийства Христом осуждаются, провозгласил, опираясь на авторское свидетельство — на евангелие, а не на еврейские газеты, как указывал Крушеван. Провозгласив себя христианским правительством, русское правительство осудило само себя, осудило практику военно-полевой юстиции и установило только свой собственный приговор. Господа, вопрос об убийствах и смертной казни сделался здесь партийным вопросом: одна сторона перекидывает на другую взаимные обвинения. Я вижу отсюда, что представляет Россия по-



Г. Купин - 1918 г.

следнего времени — это взбаламученное море, междоусобная война; понятие о добре и зле перепуталось, презирается ценность человеческой жизни, утрачены высшие нормы человеческой личности. В это время нам, народным представителям, надо говорить не только правду и прямо, но и давать звучать голосу народной совести. Рассматривать этот вопрос нужно не с партийной точки зрения, а с точки зрения судеб нашего отечества. Я вижу здесь междоусобную войну, которая пропастью лежит перед Россией и ведет ее к величайшей опасности, если не к гибели. Единственный мост, который может быть воздвигнут над этой пропастью, это государственная дума; на ней лежит эта нелегкая задача — создать право на месте бесправия. Я должен сказать, что прежде всего народное представительство в целях этого миротворения должно заявить правительству: будьте сильным, мужественным правительством, найдите мужество быть правительством христианским.

Несчастье России последнего времени состоит в том, что у нас нет права; не в смысле формальном, так как и военно-полевая юстиция при точном соблюдении всех формальностей может быть названа правом, хотя от этого она не станет правом. У нас нет права в смысле естественном, нет тех высших норм, о которых здесь много говорилось. Вот в этом смысле у нас давно нет права. Весь ужас положения заключается в том, что все мы это право ищем и не можем найти.

За последнее время правительство сошло с того пьедестала, на котором оно, как всякое беспартийное правительство, должно было стоять. Правительство заняло положение одной из партий и решилось на неправоподобный террор — ибо всякий террор является неправоподобным — отвечать террором правовым, не замечая того, какое ужасное противоречие заключается в этих словах. Для того чтобы народное представительство могло предпринимать какие-либо шаги к умиротворению страны, ему нужно иметь убеждение, что оно имеет это право или будет иметь его; что в деятельности правительства наступит перемена, при которой должны сами собою прекратиться все неправоподобные действия. Я думаю, что могу сказать, что многие из присутствующих, если не большинство, с горем и ужасом встречают известие о различных убийствах, происходящих в России в настоящее время. Все мы, весь народ страдает, когда совершаются эти антиправовые явления, когда юнцы идут на убийства, когда исчезает различие между дозволенным и недозволенным, между добром и злом. Правительству, прежде всего, нужно самому осудить себя. Кто из вас без греха, пусть первый бросит камень.

Я не хочу никого судить. Я хочу указать только, что положение, которое переживает сейчас Россия, охваченная междоусобной войной, должно быть прекращено. Положение, при котором обе стороны, правительство и народ, ведут взаимную войну — это положение совершенно безнадежное. Правительством борьбы и насилия не может быть создано новое право. Правительством должно блюсти право — это ясно для всех: когда мы почувствуем это, когда это почувствует страна, тогда нам придется выражать осуждение политическим убийствам — они прекратятся сами собой. Тогда мы получим почву, будем иметь авторитет сказать: довольно крови! Недостаточно было бы просто отменить военно-полевую юстицию, молчаливо отменить, — нужно всенародно, торжественно ее осудить; это вопрос не только права, но и народной совести. Пусть осудят противоправовые нормы, пусть исключат их, и это будет знаком вступления на путь новой, мирной, культурной жизни.

Деп. Капустин (*октябрист, г. Казань*). Я не буду говорить здесь о смертной казни вообще, которая точно так же возмущает душу русского человека, — это не есть предмет сегодняшнего заседания, — но эта форма суда испытана и уже дала результаты, плачевные для нашего сознания, для нашего христианского чувства, для нашей души. Эта форма суда должна быть отменена. Здесь выходит, таким образом, что в сильном государстве сильная государственная власть, которая должна быть претендующей на прочные основания, обеспечивающие права и спокойную жизнь, эта власть борется с проявлениями

противогосударственными, око за око, зуб за зуб, — совершенно одинаковым оружием. Это недостойно сильного государства. Сильное государство имеет полное право и должно бороться с террористическими актами. Эти акты оскорбляют государственный порядок: они имеют полную возможность быть высоко несправедливыми. Если бы можно было раскрыть историю всех убитых администраторов, губернаторов, полицейских, если бы можно было их рассудить с революцией и указать, в чем их вина, то, очень может быть, стало бы ясно для всех, что суд был скорый и несправедливый. Но государство может и должно стоять выше таких соображений и таких оправданий действий, а главное, таких действий, которые поканчивают все счеты. Какая дальнейшая судьба, в каком направлении изменилось бы мировоззрение тех молодых людей или молодых девушек и женщин, которые выходят на политические убийства, например, хотя бы в тюрьмах или ссылке, мы никогда сказать не можем, потому что возраст, опыт, жизнь, размышление, образование, чтение могут совершенно менять склад мыслей. Нельзя никогда сказать, что этот застреленный или повешенный юноша не был бы впоследствии полезнейшим гражданином, которому вся страна была обязана за его будущую деятельность. Отрезать же путь к прояснению сознания, к уяснению себе истинной обязанности гражданина, что делает смертная казнь, — это тяжелый грех, который берет на себя государство. По всем этим соображениям, признавая всю преступность, всю негуманность террористических актов, которые так легкомысленно совершаются у нас в России и доселе, мы тем не менее должны твердо и неизменно стоять за то, чтобы у нас применялся тот суд, который введен Императором Александром II, где "правда и милость" стоят на первом плане. Мы можем выразить желание: довольно крови! обращаясь во все стороны — направо и налево, вверх и вниз. Довольно уже крови пролилось в нашей стране и на полях

Манчжурии, и сколько пролито ее в наших селах и городах. Под впечатлением этой крови воспитывается наше юное поколение! Пусть нас не услышат деятели революции, деятели террористических актов, но, если нас услышат классы более спокойные, и наши пожелания примет государственная власть, то наша цель в значительной степени достигнута. Я уверен, что недалеко то время, когда со всех этих скамей будет осуждено насилие, в какой бы форме оно ни выражалось. Я всецело присоединяюсь к предложению об отмене военно-полевых судов и уполномочен заявить, что к этому присоединяется и вся парламентская фракция союза 17 октября, которая полагает, что вместе с отменой этих судов должны быть выработаны пути и способы правильного суда по тем или иным исключительным преступлениям. (*Шумные аплодисменты центра и некоторой части левой*).

Деп. Тесленко (*к.-д. г. Москва*). Казалось бы, что все, что нужно, уже сказано по поводу отмены военно-полевых судов, и следовало бы спешить завершить формальным актом сказанное и постановить, что отныне и навсегда военно-полевые суды отменяются. Но народные представители один за другим всходят на эту трибуну и продолжают свою обличительную проповедь против этого ужасного учреждения, и не нужно удивляться этому и противодействовать. Явление, которое мы сейчас обсуждаем, настолько исключительно, настолько страшно и чудовищно, что нет сил и слов, чтобы ярко говорить о нем, характеризовать его и бороться с ним; нужно говорить и мы будем говорить. Пусть весь мир слушает эти речи и содрогается. Мы еще и еще раз возьмем в свои руки это страшное чудовищное создание междудумского правительства, называемое военно-полевым судом. Мы возьмем для того, чтобы авторы его, здесь присутствующие, посмотрели на него, взглянули на произведение своих рук и чтобы они ужаснулись, глядя на свое детище. (*Бурные аплодисменты центра и левой*).

Здесь мы видим пред собой того министра, который высоко в своих руках должен держать стяг с надписью: "Суд единый и равный для всех". Мы знаем, что держатель этой святой хоругви русского народа не возражал против создания этого чудовища. В руках его склонялся этот стяг, и этого никогда русский народ не забудет. Здесь много говорили о военно-полевых судах, но я позволю себе моими скромными силами еще сделать два-три штриха. Мы знаем, что прежде, чем на суде появляется подсудимый, суду нужно исследовать дело. Вы знаете, что для военно-полевых судов не надо никаких исследований. Тот, кто решает вопрос о жизни человека, пишет суду: "Вот вам лицо и вот вам предмет обвинения", — и больше ничего. Когда в старину везли на смертную казнь, тогда обвиненного сажали на черную позорную колесницу, вешали на него доску с надписью о совершенном преступлении. Полевые суды такая же колесница. Там написано: "сей человек приведен на смертную казнь и совершил то-то и то-то". Ни доказательств, ни улик, ни даже суда, потому что нельзя назвать судьями пять офицеров, назначенных специально для этого дела их высшим начальником, часто командующим войсками округа, и которым сказано, что дело ясно и расследования не требует. Как можно называть судом позорную колесницу, которая влечет



на эшафот? В каждом суде предоставлено право вызывать свидетелей, здесь все сделано, чтобы этого не было, — скорей на эшафот! Я не буду говорить о защитниках, но в каждом суде есть прокурор. Наше правительство создало такую форму суда, в которой нет прокурора. В военно-полевой суд не допускают прокурора; как бы боялись, что даже прокурор, человек, состоящий на государственной службе, обязанный поддерживать обвинение, обязанный проводить в суде виды правительства — даже он содрогнется от того, что там происходит. Боятся даже прокурору показать правду. Вы знаете, господа, гласность в судах всячески стеснена, но она всюду проникает в ничтожных размерах, в виде защиты, в виде отца и матери подсудимого, которые не покидают его в момент самый страшный в его жизни. Военно-полевые суды даже отца и матери не допускают, я не говорю уже о защитнике. Разве это суд — это застенки, это подземелье, где творится расправа и куда никого нельзя пускать. У создателя военно-полевых судов не хватило смелости просто сказать: генерал-губернаторам и главноначальствующим принадлежит право предавать смертной казни. Они создали страшную процедуру и кощунственно назвали ее судом.

В средние века человека подвергали перед казнью пыткам. Теперь то же самое делают полевые суды. Человек уже обречен на смерть, но прежде чем казнить, его подвергают моральной пытке, называемой военно-полевым судом. Ни один оратор не отметил здесь ужасного факта. Эту форму суда не применяет наш военный кодекс даже на театре военных действий по отношению к внешнему врагу. Но ее применяют по отношению к врагам внутренним, и притом не в момент борьбы, а в тот момент, когда враг побежден. Это суд реакции, которая торжествует над врагом угнетенным, уже не могущим сопротивляться. Это разгул реакции. Я спрошу тех, кто говорит, что это способ борьбы: против кого эта борьба? Только против тех, кого правительство считает своими врагами. Мы знаем, в каких случаях эти суды применялись, но скажите, знаете ли вы хотя один случай применения их к погромщикам или к тем, которые подстрекали к погрому? (*Оглушительный взрыв аплодисментов в центре и левой*). Я не хочу сказать, что нужно применять полевые суды по отношению к кому бы то ни было; наоборот, я скажу, что они не должны применяться ни к кому решительно. Но разница в отношениях исполнительной власти к нарушителям интересов правительства и к противообщественным преступлениям погромщиков бросается в глаза. Правая фракция экспромтом разбирала здесь законопроект. Может быть, потому, что это был экспромт, было высказано много очень откровенных вещей. Я должен вообще заметить, что парламентская фракция нашего правительства гораздо простодушнее и откровеннее самого правительства. Они экспромтом сказали то, чего, может быть, не хотели сказать. То, что в правительственном акте названо судом, правые судом не называют. Они говорят, что это только борьба.

Они называли и другие средства борьбы. Так, один оратор говорил, что этот суд похож на народный самосуд, а оратор, передо мной говоривший, сказал, что в деревне постоянно так судят. Они указали на другие формы суда, а один из ораторов развил мысль, что если не будет полевых судов, то будут погромы; другой оратор сказал, что если полевые суды будут отменены, то встанет крестьянство и расправится с эксплуататорами. Ведь все эти ораторы правы в том, что полевые суды — это цветок погромной политики, который пышно расцвел, когда распустили думу, это плод дерева, которое, ужасно сказать, пустило глубокие корни в нашей жизни.

Странно слышать от правых возгласы: где Спиридонова? Я отвечаю: измученная, исстрадавшаяся томится в бессрочной каторге. А я вас спрошу, где те, которые создали кишиневский, седлецкий и другие погромы? (*Оглушительный взрыв аплодисментов в центре и слева*). Их недалеко искать. (*Голос: "они здесь". Продолжительные, бурные аплодисменты. Деп. Крушеван вскакивает, хочет что-то сказать. Аплодисменты и крики продолжают.*) Мне остается сказать еще немно-

го слов. Говорят, что полевые суды — это нечто необходимое. Я хочу сказать, что их нельзя оправдывать ни с какой точки зрения, кроме той, которая основывает свою политику на нарушении прав и разгуле произвола. Нужно помнить простую истину, всегда применимую в области политики — не будь жесток, не переходи предела. Жестокостью вы вызываете реакцию. Вы можете защищать полевые суды, но вы не можете запретить сказать, что гибнущие от полевых судов гибнут не от священного меча Фемиды, а просто от руки убийц. Немало людей кричало: "руки вверх", но разве им государственная власть так же не кричит "руки вверх" вместо того, чтобы их судить? Разве это целесообразно? Разве можно забывать, что убивают человека? Вы возвышаете дело, которое он совершил. Нельзя забывать старую истину уголовной политики, о которой я говорил. Это не суд, а расправа людей, потерявших голову, лишившихся душевного равновесия, забывших, что когда льется кровь, то она льется с двух сторон, что кровавая река вопреки законам природы течет вспянь. Еще раз повторю, и это нужно повторять бесконечно: если вы действительно хотите, чтобы кончилось кровопролитие, устранили самые страшные злодеяния, злодеяния власти, устранили угрозы погромами, которые здесь раздаются не первый день, и только тогда можно будет надеяться, что в стране водворится порядок. (*Аплодисменты в центре, слева и в части правой*).

Деп. Гр.Бобринский (*монарх. Тульск. г.*). Г. Кузьмин-Караваев, ссылаясь на свой авторитет как специалиста, сообщил нам, что русские полевые суды совершенно беспримерны на всем земном шаре. Я заявляю, что это неправда. (*Шум.*) Недавно в Сан-Франциско, после землетрясения, был немедленно провозглашен военно-полевой суд для восстановления порядка. Этот суд был так строг, что расстреляли человека, вымывшего руки в воде, заготовленной для питья; и республиканская Америка не восстала, она поняла тяжелую, кровавую необходимость. К таким же мерам прибегали во время землетрясения в Вальпарайзо и никто не протестовал. Господа, у нас теперь, кажется, похуже землетрясения. (*Шум слева*). Исключительные меры должны применяться. Говорят, что ни в одной стране нет полевых судов, но проф. К.-Караваев, зная, вероятно, что мы будем возражать, указал на Австрию и сказал, что там полевые суды существуют исключительно для военных. Это тоже неправда. (*Читает ст. австрийского кодекса*).

Мы с вожделием ждем, когда можно будет отменить смертные казни и военно-полевые суды. Но прежде отмены надо подумать два или три раза, можем ли мы это сделать, когда знаем, что во всем цивилизованном мире, а цивилизованный мир весь христианский, применяется смертная казнь, а в целой половине его и военно-полевые суды.

И если бы хотя половина той смуты, которую мы видим у нас, происходила там, она была бы живо и скоро остановлена, потому что кроме военно-полевых судов там выступает и общественное мнение, которое восстает против мерзости и гадости бомбометателей. Мы же — мы ясно высказываем, как мы относимся к подобным явлениям.

Депутат Маклаков обещал нам с этой кафедры сказать, как он относится к убийствам, до сих пор мы этого не знаем, и поэтому вправе считать, что он относится к ним так же, как относились первая госуд. дума и партия народной свободы. Первая дума отказалась выразить порицание политическим убийствам и там (*указывая на центр*) встретили аплодисментами известие, оказавшееся, слава Богу, ложным, об убийстве Дубасова; хотя мы во второй думе в меньшинстве, но мы никогда не допустим, чтобы вторая дума сколько-нибудь была похожа на первую. (*Аплодисменты на скамьях правой*).

Деп. Струве (*к.-д. г. С.-Петербург.*). После сказанной речи, в которой были бросаемы самые несправедливые и несообразные обвинения, вы не услышите сейчас от меня ответа. Я взял слово для того, чтобы подчеркнуть основную мысль, положенную в основание того законодательного предположения, которое внесла партия народной свободы. Член думы Маклаков

уже развил перед госуд. думой ту точку зрения, на которой могут объединиться все члены госуд. думы, если они ясно сознают, что такое есть право и что такое — государство.

Мы слышали здесь, к нашему величайшему удовольствию, официальное заявление парламентской фракции союза 17 октября, что и эта правая фракция понимает эту точку зрения права и государственности и к ней присоединяется, и в этом признании союза есть лучший ответ и лучшее осуждение тех страстных несправедливых и неприличных речей, которые пришлось мне выслушать перед тем, как вступить на эту трибуну. И к спокойной оценке, спокойной при всем ужасном сознании неправды и зла, которые творились и продолжают твориться, к такой оценке вопроса я призываю вас. Никакие возгласы ни графа Бобринского, ни других его товарищей не могут устранить того простого факта, что правительство, прибегнув под названием военно-полевого суда к краткой расправе, тем самым нанесло удар государственной идее, подточило основы права. Результаты налицо. Устрашения не произошло.

Господа, здесь один представитель правых говорил о том, какое получилось устрашение: люди, которые совершали политические убийства, немедленно после того совершали и акт самоубийства. Господа, я удивляюсь, как можно было в собрании здравомыслящих людей обратиться к подобному аргументу. Ведь человек, который сам себя казнит, ведь ему была не страшна смертная казнь. (*Аплодисменты*). Разве можно такие аргументы предъявлять здравомыслящим людям, аргументы, которые неправы в своей основе. Какое лживое дело вы защищаете, когда выступаете на защиту такого государственно-го института!

Я вам приведу один случай, который совершенно ясно подтверждает то, что я говорил. Вам известно, что одно иностранное правительство отказалось выдать нашему правительству преступника, совершившего экспроприацию, т.е. грабеж. Господа, если вы уважаете русскую государственность, если вы действительно патриоты, то в этом акте вы должны были бы чувствовать величайшее оскорбление русскому государству. Вызвано же было это оскорбление существованием такого института, как военно-полевой суд. (*Аплодисменты*.)

За грабеж отказались выдать преступника, потому что в стране, которая требовала выдачи его, не осуществляется правосудие. Этот случай, я вам скажу, весьма ясно побивает вас. Если вы патриоты, то вы должны признать, что это учреждение, из-за которого наносится оскорбление России как государству. Затем я должен здесь высказать решительный протест против тех слов, которые с этой кафедры были сказаны по адресу наиболее уважаемого из современных русских писателей — Владимира Галактионовича Короленко. Я должен высказать протест еще и потому, что, как известно, судебная власть отказалась от обвинения, которое к нему было предъявлено (*бурные аплодисменты на скамьях левых и центра*) — к человеку, имя которого славно не только в русской литературе, но и вне России, и который известен не только как литератор, но и как защитник угнетенных. (*Бурные аплодисменты на скамьях левых и центра*.)

Я, господа, еще коснусь 2-3 аргументов. Здесь говорили, что если отменить военно-полевые суды, это будет значить — снять цепь. Неужели после всего, что мы выдержали, можно верить в этот аргумент? Я удостоверяю, и удостоверяю на основании совершенно точно известного мне факта, от которого до сих пор продолжает дрожать мое сердце, что военно-полевые суды суть не средство борьбы с политическими убийствами, а ужасный призыв к политическим убийствам. И в этом их обратном действии сказывается та противогосударственная сущность, отрицаемая нами, для борьбы с которой мы и внесли этот законопроект. Я еще укажу вам на одну ужасную особенность этих учреждений. Эта особенность связана с тем, что тут роль судей поручена военным. Мне приходилось слышать, и я считаю своим долгом сказать это здесь с кафедры, что военные, которые по долгу своей службы призываются к

исполнению обязанностей судей военно-полевых судов, испытывают ужас. По долгу службы, во имя воинской дисциплины, они обязаны исполнять этот приказ, и, таким образом, их заставляют быть палачами. Эти ужасные разлагающие начала вносятся в самый строй армии. Против этого ужасного зла мы обязаны здесь протестовать.

Нельзя создавать таких законов, которые во имя воинского долга тянут людей быть палачами. Здесь говорилось гр. Бобринским, что это учреждение оправдывается тем состоянием, в котором находится наша страна. Господа, я не склонен присоединяться к преувеличениям, которые раздаются с левой стороны, но я должен решительно протестовать против того, чтобы в то время, когда государственная дума в полном спокойствии и порядке занимается здесь, когда пред нами выступает правительство, которое обещало осуществить основы правового государства, — чтобы при таком положении наша страна характеризовалась как страна, обьятая революционным пожаром. Если бы это было так, то в чем же заключалась бы деятельность того правительства, которому вы всецело сочувствуете? Если ваша картина правильна, то, значит, никаких результатов эта деятельность до сих пор не дала? Я полагаю, что эта картина, изображающая Россию в состоянии революционного пожара, который выражается в террористических актах и убийствах, — что эта картина совершенно извращает действительное положение страны.

Я полагаю, что, несмотря на все речи с этой стороны, отмена военно-полевых судов есть не только долг государственной думы, но что эта отмена будет и актом элементарнейшей государственной мудрости со стороны самого правительства. (*Аплодисменты на скамьях левых и центра*.)

Деп. Герус. (*с.-д. Куб. обл.*). Вы с этой кафедры слышали защитников военно-полевых судов и смертной казни; вы слышали и их аргументы. Этими аргументами они создали против себя обвинительный акт. Они говорят, что на Западе была смертная казнь, что там были и есть статуты закона, которые позволяют применять смертную казнь. Но я спрошу вас: кто вводил эти законы? Кто там, за границей, составлял их? Можно разве сказать, что в составлении их принимали участие низшие слои населения? Принимали ли участие крестьяне или угнетенный пролетариат? Нет, в составлении закона эти народные массы участия не принимали. Эти законы, карающие смертной казнью, были составлены теми, которые обладали громадными участками земли; этими законами угнетатели крестьян и рабочих, так же, как и сейчас у нас, боролись против естественного стремления угнетенного народа добыть себе из земли кусок хлеба. И вы для защиты наших военно-полевых судов ссылаетесь на эти законы, направленные против голодных крестьян и рабочих. Этим вы ясно показываете свою природу и природу защищаемого вами правительства.

Именуя себя народными представителями, вы защищаете только интересы привилегированного сословия, интересы крупных землевладельцев. Для их защиты и наше правительство, стоящее на страже интересов не народа, а этого класса земельных собственников, создало военно-полевой суд. Представители власти любят говорить, что они являются защитниками интересов всего народа и охранителями основ государственности; но слышали ли они от народа требование введения этого кровавого суда? Требовал ли его русский пролетариат и 80 миллионов крестьянства? Нет, они не требовали его, да и не могли требовать, так как этот суд направлен против них, а не на их защиту. Военно-полевой суд — это средство борьбы, как заявил депутат Шульгин; да, это именно средство борьбы. Правительство, на котором история хочет поставить крест, судорожно хватается за это последнее и отчаянное средство борьбы для защиты себя и сословия, из недр которого оно вышло. Не народ требовал военно-полевых судов, а совет объединенного дворянского сословия. Правительство же, как верный слуга этого сословия, вняло его голосу и скорострельными судами надеялось успокоить возмущившуюся против его господства страну. Но достигло ли оно намеченной цели? Правитель-



ство своим актом только породило анархию. Оно породило то, против чего борется революция. Революция стремится из недр народа выдвинуть новую власть, которая должна выражать его волю и быть его слугою.

Социал-демократическая партия террористическую борьбу не считает целесообразным средством. Но, не одобряя этого средства, как не достигающего цели освобождения народа, она не ставит его на одну доску с правительственными убийствами. Последние являются причиной направленного против правительства террора. Своими репрессиями оно лишает людей, стремящихся к народному благу, других, мирных и культурных средств борьбы. Репрессии правительства являются причиной террора, и мы всю ответственность поэтому возлагаем на правительство.

Эти террористические акты являются результатом политики, которой держалось и держится правительство. Правительство заявило, что прежде, чем проводить реформу, оно хочет успокоить страну. Но мы должны сказать ему, что оно избрало ложный путь и что экзекуциями и виселицами не удовлетворить народных нужд. Страна успокоится только тогда, когда получит удовлетворение этих нужд. Раз народ получит что ему нужно, он успокоится. Но правительство ничего не дало народу, а наоборот, своей политикой все больше и больше усиливает народную нужду. Своей политикой оно свертывает страну в нищету и разорение и усугубляет эту нищету репрессиями против рабочего класса. Поощряя локауты, оно увеличивает ряды безработных. Это вынуждает некоторых из них на преступления против собственности. И за это преступление правительство теперь бросает таких рабочих в объятия военно-полевого суда.

Социал-демократическая фракция протестует против такой политики правительства и присоединяет свой голос к проекту отмены военно-полевого суда.

Она также поддерживает предложение депутата Кузьмина-Караваева о пересмотре гражданскими судами тех приговоров, по которым люди не отправлены на виселицу, а заточены в тюрьмы и сосланы на каторжные работы. Но со своей стороны мы находим нужным добиваться отмены военных су-

дов не только для гражданских лиц, а и для лиц военного сословия.

Но, к сожалению, основные законы не дают нам возможности внести законопроект об отмене исключительного военного суда для военных, а потому от имени социал-демократической фракции вношу предложение об изъятии из подсудности военных судов гражданских лиц. Мы вносим следующие предложения: 1) "лица, не служащие на действительной военной службе, не могут ни в общем порядке, ни при действии исключительных законов быть судимы военным судом; 2) во всех местностях, объявленных на военном положении и положении усиленной охраны, для охранения государственного порядка и спокойствия, положения эти отменяются". Поддерживая внесенный законопроект и внося добавление к нему, мы думаем, что одним этим законом не избавим страну от того ужаса, который в ней царит. Все эти ужасы могут быть уничтожены только тогда, когда власть перейдет из рук господствующего сословия в руки самого народа.

Мы убеждены, что правительство, если оно будет вынуждено отменить военно-полевые суды, все-таки не остановится перед рядом репрессий против освободительного движения, но мы также думаем, что этими репрессиями правительство не удовлетворит народных нужд. Мы должны вступить на путь не репрессий, а на путь удовлетворения требований народных; нужно избавить страну от тех ужасов, которые она переживает. Внося сделанное предложение, мы думаем, что мы этим актом выражаем волю народа, горячее стремление русского народа к избавлению от кошмара, который тяготеет над ним; мы думаем, что этот акт будет поддержан народом, как и дальнейшие наши акты, что он отзовется в сердцах русского народа. (*Аплодисменты слева*).

Председатель. Внесено предложение о прекращении записи ораторов. Довожу до сведения думы, что остаются еще записанными 68 ораторов. Ставлю на баллотировку это предложение. Предложение принято.

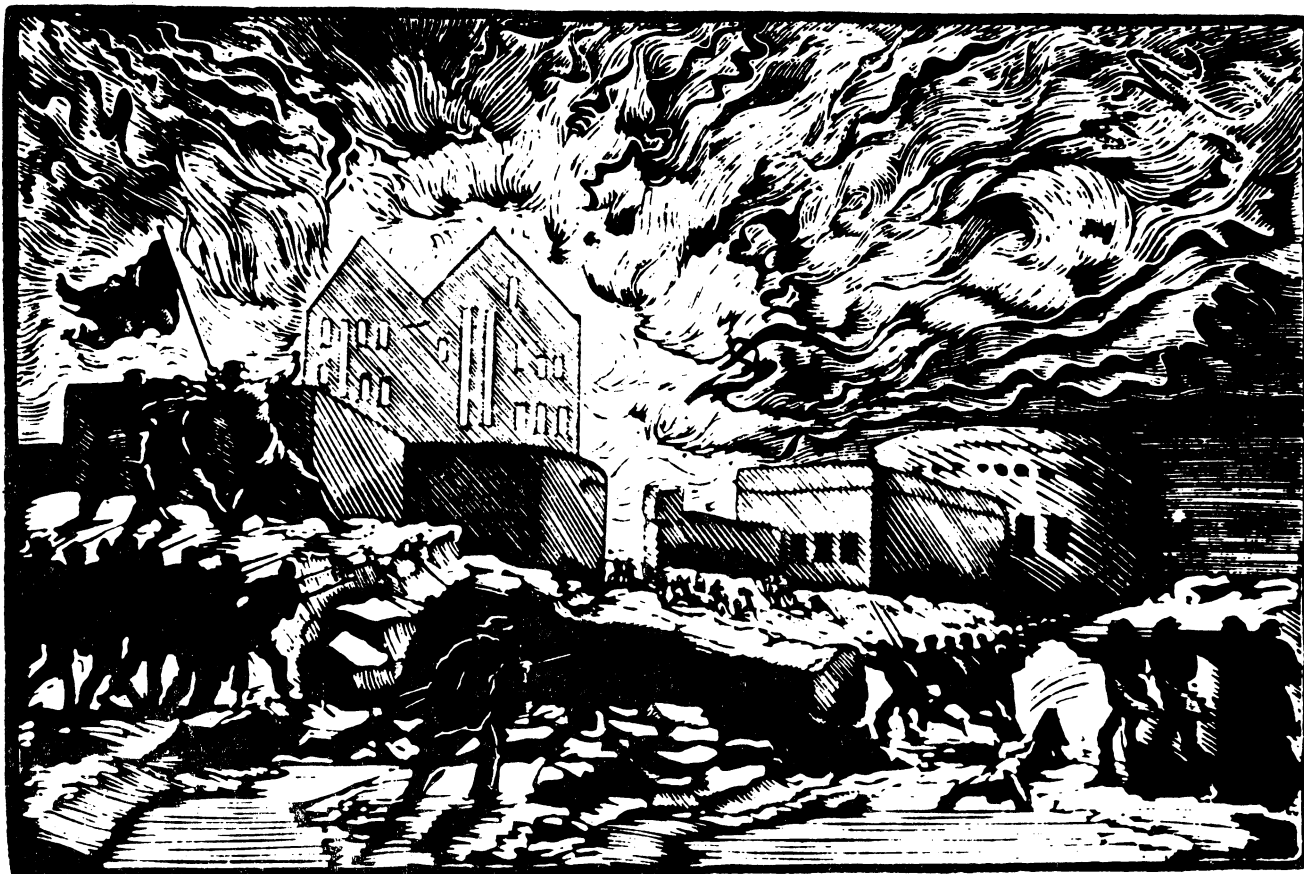
Деп. Бардиж (*казацкой группы, Куб. обл.*). Входя на эту кафедру, я слышал замечание: пора окончить прения, потому что мы ломимся в открытую дверь. Я вполне присоединяюсь к этому замечанию, и если вхожу на эту кафедру, то не потому,

что считаю неосновательным внесенное предложение; наоборот, оно слишком ясно доказано. Я пришел для того, чтобы упомянуть об одной стороне вопроса, только слегка затронутой депутатом Струве. Я хочу упомянуть об участии в военно-полевых судах чисто военного элемента. Я беру на себя смелость и право говорить об этом, будучи сам военный. Развитие правосудия шло тяжелым эволюционным путем, завоевывая шаг за шагом такие понятия, как гласность, справедливость, милосердие и тому под. Эти понятия вводились, я полагаю, при большом участии самих судей. Сами судьи шли впереди, всегда увлекая за собой общественное мнение, и я полагаю, что так оно и должно быть. Судьи и раньше и теперь не с легким сердцем подписывают всякий обвинительный приговор. Подписать обвинительный приговор, я думаю, и теперь каждому тяжело, но единственной поддержкой, единственной опорой при этом, особенно в уголовных делах, служат именно понятия гласности и справедливости суда. Суду должны быть даны все условия, при которых он может считаться судом идеальным, при котором наименее допустимы всякого рода ошибки. Сознание, что суд поставлен на идеальную высоту, и дает судье возможность отправлять свои тяжелые обязанности. Что же мы видим в военно-полевых судах? Мы видим, что все основы, все до единой — за исключением скорости, которая совершенно иначе понимается, чем это положено в основу гражданского суда, — все идеальные основы отняты у военно-полевого суда, и только при безусловно страшном принуждении, благодаря известной силе, люди вынуждены участвовать в таком суде, где нет для них ни малейшей нравственной поддержки, где вся тяжесть ответственности ложится на них как на людей. Они участвуют в таком суде только потому, что почему-то обязаны это сделать, не могут этого не делать, должны делать. В то же время они тяготятся, они возмущаются до глубины души, они с ужасом смотрят на обязанность участвовать в суде, в котором нет основ справедливости и нет данных для того, чтобы он оказался справедливым. Они участвуют в таком суде и протестуют против него.

Я мог бы привести массу примеров из жизни, из которых видно, что военные крайне недовольны участием в военно-полевых судах. Я имею пред собой письмо строевого офицера; он обращается к народным представителям с просьбой снять с них, военных, это проклятие, — он так и называет участие в полевых судах проклятием. (*Аплодисменты в центре и слева.*) Далее автор письма говорит, что он был в опасности, был на волоске от смерти, чувствовал себя тяжело, но такой тяжести, какую испытывал как судья в военно-полевом суде, никогда не испытывал: "и при мысли, что я пережил в эти минуты, стынет кровь в жилах", — говорит он. Быв свидетелем судебной ошибки, не будучи в состоянии ничем ее исправить, мой корреспондент указывает, что он до тех пор не успокоится, пока проклятие не будет снято с военных. (*Аплодисменты слева и в центре.*) Это одна сторона вопроса, другую я хочу подчеркнуть. Смертные казни были и до введения военно-полевых судов. Что же мы видели при исполнении смертных приговоров? Приговор постановлен: нужно привести его в исполнение.

В тех случаях, когда военно-полевые судьи постановляют приговоры, власть должна обратиться к кому-нибудь, чтобы он привел их в исполнение. Я не думаю, чтобы была какая-нибудь разница между смертной казнью через повешение или расстрелом — все равно, каким путем отправиться на тот свет. Чтобы привести приговор в исполнение, власть должна искать исполнителя. Скажите по совести, где отыщется этот исполнитель? Конечно, власть его отыщет среди подонков человечества, среди лиц, потерявших человеческий образ и стоящих по своему нравственному уровню на стадии животной. Но за исполнением такого позорного дела обращаются к армии, чтобы она дала налечей! (*Аплодисменты.*)

Ужаснее всего в этом деле то, что, прежде всего, в армии должно видеть только защитницу порядка и государственности. Армию нельзя считать чем-то отдельным от народа. Ведь армия — это тот же народ, обязанный известное время, в самых молодых годах и силах, когда самое лучшее стремление человека на защиту справедливости достигает высшего разви-



тия, стоять на защите основ государственности и порядка, и вот этой-то армии военно-полевые суды навязали тяжелую обязанность, обязанность, как теперь выясняется из произнесенных здесь речей, незаконную. Этой армии, охранительнице порядка, поручили исполнение явно незаконного дела! Я опять вернусь к тому, что наша армия — это цвет нашей молодежи. Поймите положение тех военных, в среде которых так высоко ставятся понятия о чести, долге.

Поймите положение их, когда они невольно задумываются и говорят самим себе: "Ни один человек не должен подать руки палачам", — повторяю, они видят в них подонки человечества, — каково положение этих офицеров и нижних чинов, которые дойдут до сознания, что они, как-никак, а палачи? Армия живет нервами, ей не чужды все лучшие порывы. Если признать за нею эти качества, а не видеть в ней только орудие, материал, которым можно пользоваться как угодно, если даже не говорить о нецелесообразности, бесполезности, жестокости возложенной на нее тяжелой обязанности, если видеть в армии людей, — тогда военно-полевые суды не должны существовать; они должны быть уничтожены. Военно-полевые суды потому уже должны быть уничтожены, что они позорят самое лучшее, что у нас есть — нашу плоть и кровь, нашу армию. (*Бурные аплодисменты центра и левой.*)

Деп. Пергамент (*к.-д. г. Одессы*). Я понимаю, что вопрос о военно-полевых судах не может не волновать вас, что настроение, довлеющее собранию, повышено, ибо введение военно-полевых судов довело до чрезмерного напряжения состояние общества, и слишком туго натянута струна общественного терпения, чтобы не звучать болезненно высоко при малейшем к ней прикосновении. Я хотел бы подойти к этому вопросу с точки зрения его политического содержания. Мы не можем смотреть на военно-полевые суды иначе, как чрез окружающий их кровавый туман, в котором реют призраки его жертв, призраки, леденящие взор. Военно-полевые суды неразрывно связаны с темой смертной казни. Они являются упрощенным вариантом ее назначения, простой ступенью к виселице. Из области исключительных кар смерть перешла в ежедневный обиход нашего существования. Мы, приехавшие с мест, объявленных на военном положении, понимаем весь реальный ужас этих слов. Смерть вторглась к нам в дом. Она стала нашим постоянным, неизменным спутником. По пятам следует она за нами по улицам, готовая каждую минуту ринуться на нас, как одичалый, голодный зверь, рвущийся с цепи. И не столько ужаса в том, что цепь может оборваться каждую минуту, сколько в том, что один ее конец отдан правительством в руки полиции. Но человеческий ужас бледнеет перед государственным трагизмом содержания военно-полевых судов. Только близорукий обыватель может думать, что введение военно-полевого суда являет собой мощь и силу государственную. Мы все знаем, что это проявление бессилия. Когда государство прибегает к военно-полевому правосудию, к блиндированным автомобилям, оно расписывается в своей несостоятельности. Когда государственный правопорядок и определенный строй не могут осуществиться в нормальных условиях своего существования, своих задач и предназначений, тогда налицо не только признаки бессилия, тогда ярко выступает перед нами отсутствие власти — анархия. Утрачивается доверие и уважение к власти и тем основным началам законности, на которых зиждется государство.

Но этого мало. Вступая в борьбу с обществом и объявляя ему открытую войну, правительство, выступая как политическая партия, не поднимает при этом забрала, и, осуществляя свою репрессию, делает это при посредстве суда, остающегося таковым только по имени. Если бы у правительства было достаточно мужества прибегать к насилию открыто, как политическая партия, то налицо был бы только человеческий трагизм, но распиная вместе с живой человеческой личностью основные начала права и законности, правительство колеблет основы государственности. Гибнет не только человек, а расклеветывается закон, суд и самая основа правопорядка. Забывается

мудрое правило, что в правосудии — охрана государства, и трупный запах идет не от человеческих тел, а от государственных учреждений. Верните скорей здоровые начала суда! Прекратите кошмар военно-полевого правосудия. Когда на виселице колышется жертва военно-полевой справедливости, то мне думается, что это не человеческое тело, а великие начала общественности и государственности поруганы легкомысленной и святотатственной рукой. (*Бурные аплодисменты в центре и слева.*)

Деп. Ржехин (*с.-р. Саратов. г.*). Сегодня г. Пуришкевич бросил в сторону скамей, занимаемых парламентскою группою социалистов-революционеров, слово "убийцы!". Я должен сказать, что он обратился не по адресу и указал не на те скамьи. Ему бы следовало указать на места противоположные. (*Оратор указывает на скамьи крайних правых.*)

Господа, вы знаете, что ни одна социалистическая партия не выставляет террор как цель. То же и партия с.-р. На террор идут люди, самоотверженно преданные народу. Они борются за народные права и народную свободу и прибегают к этому средству лишь в случае крайней необходимости. Вы, вероятно, знаете программу партии с.-р.

Председатель. Оратор, нельзя ли держаться ближе к теме.

Деп. Ржехин. Я укажу на те моменты, когда люди шли к народу с желанием мирно работать. Припомните 70-е годы, когда шли в народ проповедовать идеи социализма. Люди хотели принести свет и культуру народу. Но правительство не дало им возможности работать, и тогда в партии произошел крутой перелом. Люди убедились, что народу нельзя служить мирными средствами. Господа, вспомните слова Желябова на суде: "И в нашей жизни была розовая мечтательная юность". Да, и у нас была юность, когда хотелось отдать все свои силы на служение народу мирными культурными путями. Ответственность за перемену тактики падает не на нас. Когда начинаются репрессии сверху и правительство становится на путь террора, то, конечно, ему отвечают террором снизу. Гершуни заявлял на суде, что если бы правительство дало хоть каплю света свободы, то он никогда не сочувствовал бы террору. На террор люди были толкнуты самим правительством. Вспомните, что еще в 80-х годах исполнительный комитет народной воли написал Императору Александру III письмо, в котором говорилось, что если народу будут даны политические права, то террор не может не исчезнуть. Тот же комитет послал в Америку телеграмму после убийства президента Соединенных Штатов, в которой он писал, что в стране со свободным управлением террор не допустим.

И у нас, если страна будет развиваться на основах права, если будет дана свобода совести, собраний, всеобщее избирательное право, и народ сам будет управлять страной, никаких террористических актов не будет. (*Движение на скамьях правых.*) Всякий понимает, что во время террористических актов убивают не личного врага, а убивают того, кто является носителем произвола и насилия. В заключение я укажу на то, что Шарлотта Кордэ, убившая во Франции Марата, вызвала сочувствие народа, потому что она убила тирана. (*Аплодисменты крайней левой.*)

Деп. священник Тихвинский (*крест. союз, Вятская г.*). Господа народные представители! Военно-полевой суд и смертная казнь — синонимы. Какая в этих словах простота и сколько в них ужаса, слез и горя! Представьте себе мать, у которой отняты дети, представьте себе тысячу таких матерей, представьте себе всю нашу родину, которая плачет над несчастливыми. Справа говорят: "Смертная казнь для преступников". Я скажу: отдайте их матери-родине, она их обнимет, поддержит, научит добру! Знайте, преступником никто не родился; каждый человек рождается с чистой кристальной душой. (*Аплодисменты.*) Кто же виноват, что человек стал преступником? Виноваты мы, пастыри церкви. (*Громкие аплодисменты на всех скамьях.*) Виновато общество, а более всего правительство. (*Аплодисменты слева.*) Вспомните, что говорил незабвенный наш Достоевский о преступниках. — Если казнить

кого, господ, так казнить учителей. (*Громкие аплодисменты слева и в центре. Слева крики "браво".*) Преступление всякое убийство, на какой бы то ни было почве, но убийство по суду, убийство в христианском обществе, убийство во имя Бога — это преступнейшее из убийств. (*Гром аплодисментов.*)

Ужаснее всего, что смертная казнь оправдывается у нас именем Спасителя, который трости расколотой не мог бы сокрушить. Вспомните, как два ученика Спасителя, Яков и Иоанн, когда одно селение не приняло их учения, просили Спасителя послать огонь на селение, как это сделал Илия. Христос ответил, что Он пришел не губить, а спасать, — смертная казнь не только смерть телу, но и душе. Представьте себе человека в самых трудных обстоятельствах — у него остается надежда на спасение: он борется, ищет выход, молит небо о спасении, и иногда ему случается избежать опасности. Но что такое смертная казнь? Войдите в положение страдальца, обреченного на смертную казнь. Сердце замирает от ужаса. Бежать — но куда? Замки и стены крепки. Просить защиты у общества? Но его никто не услышит. Взывать к Богу? Но ведь он во имя Бога и осужден. (*Бурные аплодисменты слева и в центре.*) Обычно эти несчастные кончают или сумасшествием, или самоубийством, или богохульством — в какое ужасное положение поставлен напутствующий на казнь священник! По судебным уставам мы обязаны увещевать приговоренных к казни. Что я, священник, скажу ему, придя в его камеру? Я могу только пасть к его ногам и просить его о прощении общества, которое само не знает прощения. (*Бурные продолжительные аплодисменты в центре и слева.*) Как подам я ему крест, символ мира и любви? Смертная казнь, господ, это ужасная, это нечеловеческая месть. И мы можем себя назвать христианским обществом, да еще и православным, если у нас за один месяц больше смертных казней, чем во всей Европе за 10 лет? (*Бурные аплодисменты слева и в центре.*) Господа, протестовать надо, протестовать всеми силами души против растлевающего, губящего душу и тело зла. От представителя власти мы слышали недавно, что здесь для них не скамья подсудимых. Господа, сегодня это для них скамья подсудимых. (*Бурные аплодисменты слева и в центре.*) Я бедный сельский священник, но я с ужасом бежал бы от этой скамьи.

Позвольте мне заявить от имени трудовой группы и крестьянского союза. Мы не требуем от нашего правительства "руки

вверх", мы требуем совести. Что стоило бы сегодня представителю власти выйти и произнести четыре слова: "Смертная казнь отменяется навсегда!" (*Бурные аплодисменты слева и в центре. Оратор с плачем продолжает, обращаясь в сторону епископов.*) Сюда, на эту священную трибуну, должны выйти святители церкви и заявить, что смертная казнь противна Христу! Пусть никто не смеет оправдаться именем кроткого Спасителя! Господа, лучше быть судимым за милость, чем оправданным за жестокость! (*Бурные аплодисменты слева и в центре.*)

Деп. еп. Евлогий (*правый*). Господа члены государственной думы. Здесь православный священник бросил вызов нам, его архипастырям, и вызов этот был поддержан многими: из вас. Я не считал себя вправе уклоняться от этого вызова.

Но едва ли я смогу что-нибудь прибавить к той картине ужасов военно-полевых судов, неразрывно с ними связанных смертных казней, которая так ярко, так красноречиво, так убедительно была нарисована перед нами. Разве можно отрицать, что известие о каждой смертной казни, о каждом расстреле и о предании военно-полевому суду леденит сердца и наполняет их ужасом. Я имею честь с этой высокой трибуны заявить, что с христианской точки зрения никакая смертная казнь, никакое насильственное отнятие жизни, никакое пролитие крови не должно быть допущено и не может быть одобрено (*дружные аплодисменты всего центра*), в этом не может быть никакого сомнения, и если бы наше общество было поистине христианским, то, конечно, не было бы ни смертной казни, ни пролития крови. Но в течение всего того длинного промежутка времени, когда мы трактовали эти жгучие, волнующие сердца вопросы, мне все время казалось, что что-то такое остается недоговоренным. Почему же здесь не было высказано слово осуждения пролитию крови с другой стороны? Почтенные члены, между убийствами разницы нет! Всякое убийство одинаково преступно, одинаково позорно для каждого христианина с строго христианской точки зрения.

Вот что я могу сказать как представитель христианской церкви и думаю, что я правильно понимаю слова моего Божественного Учителя.

Вопрос о военно-полевых судах разбирался здесь с юридической, политической и государственной точки зрения. Здесь говорили, что военно-полевые суды разрушают самые основа-



ния права и государственности. Позвольте мне от всего сердца сказать, что, по моему глубокому убеждению, все террористические убийства, которые несут нам анархию и революцию, точно так же разрушают основы всякой государственности. Конечно, я не юрист и, быть может, недостаточно осведомлен в этом вопросе, но я говорю то, что мне искренно кажется. Вот и теперь мы высказываем порицание военно-полевым судам и смертной казни, а я об одном вас прошу: будьте последовательными, будьте искренны, вынесите отсюда подобное же осуждение всем прочим террористическим актам (*аплодисменты справа*). Пожалейте наш русский народ, который и от этих актов точно так же стонет и тяжело страдает. Если дума, пользуясь своим высоким авторитетом, высказала бы порицание и осуждение террористическим актам, не было бы надобности и в военно-полевых судах! (*Дружные аплодисменты всей правдой.*)

Деп. Шахтахтинский (*мусл. гр.*). Сейчас православный священник во имя христианской религии протестовал против существования военно-полевых судов. Я — мусульманин, являюсь сюда, чтобы объявить вам, что в этом отношении между нами не разное, а единое верие, а единое верие человечности, справедливости и законности.

Во имя высоких принципов человечества наша мусульманская фракция присоединяется к протесту против военно-полевых судов и требует немедленной их отмены и немедленного приостановления всех приговоров, постановленных военно-полевыми судами.

Поэтому я всецело присоединяюсь от имени мусульманской фракции к предложению, которое было сделано, о немедленной отмене военно-полевых судов. (*Аплодисменты.*)

Крупенский (*монархист, Бессар. г.*). Когда эта зала возвала к нашим пастырям, чтобы слышать правду, то они сказали честно, благородно. Эта правда была осуждением крови, и когда пастырь сказал, что эта кровь пролита полевыми судами, вся эта зала аплодировала этим словам и слева, и справа. Но когда этот же пастырь осудил политические убийства и кровь, то эти же судьи молчали. Правда это или неправда? Нам говорят о кровавых туманах, но не видят крови, проливаемой волею анархистов. Мы должны восстать против всякого террора, всяких убийств, которые идут слева, которые одобряет центр. (*Возгласы протеста, смех центра и левой.*) Надо оглянуться и посмотреть, куда мы ведем нашу родину. Надо быть более патриотичными и честными политически. Полевые суды — это логическое последствие разбоя освободителей. Когда это прекратится, то прекратятся и полевые суды, которые никому не нужны и всем, понятно, нежелательны. Вам рисуют ужасы полевых судов, но не показывают параллельно тех убийств, которые совершаются слева. Тут нужно говорить истину. Здесь всходит на трибуну священник и порицает действия правительства. Я вспомнил слова Христа, который увидел преступника на кресте и сказал: "Мне жаль преступника", а я говорю: мне жаль креста на этом преступнике. (*Шум.*)

Спешить с рассмотрением вопроса — это тактический прием отдельных партий. Но разве мы собрались здесь для тактических приемов? У нас есть более серьезные задачи, которые надо разрешить раньше этой. Один из вопросов, относящихся к этой задаче, есть еврейский вопрос. Раз он будет разрешен, разрешена будет одна часть. Второй вопрос есть вопрос польского равноправия — вопрос насущный и необходимый, и его решить необходимо. Третий вопрос, самый огромный, это крестьянско-земельный вопрос, затрагивающий 120-миллионное население, а мы занимаемся решением отдельных случаев, быть может, несчастных случаев. Союз 17-го октября предложил здесь не отмену военно-полевых судов, но замену их. Я вполне понимаю, что если найдется другое решение для политической задачи, то его надо принять, но надо раньше это решение найти. Отвергать же одно, не заменяя другим, не является желательным.

Петровский (*к.-д., Область Войска Донского*). Благородный оптимизм депутата Кузьмина-Караваева вдрызг раз-

бился о суровую действительность. Его сознанию юриста, сердцу человека представлялось неопровержимым, что раз в этой высокой палате зайдет речь об уничтожении варварского института военно-полевого убийства, как один человек скажет палата: "довольно!". Но сошел с трибуны благородный Кузьмин-Караваев, и стали всходить на нее иные люди. Эти люди сказали вам по поводу военно-полевых судов не "довольно", а "еще".

Господа! 20 апреля кровавое чудовище, вызванное к жизни русским правительством, именуемое официально военно-полевыми судами, но представляющее в сущности военно-полевое бессудное убийство, смрадного смертью, вероятно, покончит свое смрадное существование. Вероятно! Но кто в этой высокой палате возьмет смелость сказать: "наверное"? Мы не слышали этого слова с этих пустующих теперь скамей (*указывая на министерские скамьи*). Представитель правительства говорил нам о язвах нашей жизни, о нашем нестройстве; но о кровоточащей язве военно-полевых судов он умолчал. Почему? Потому, быть может, что автору их стыдно говорить о них, он и молчит. Они ждут 20 апреля. И нам молчать? И нам ждать? Ни в коем случае! Есть моральные обязательства перед народом, с исполнением которых необходимо спешить. И в настоящее время, от имени посланных нас, должны мы сказать наше слово о военно-полевых судах и потребовать их отмены, немедленной отмены, и это — в интересах самого правительства. Ибо каждый лишний день — лишнее преступление и лишний позор на эти самые скамьи (*жест в сторону министерских скамей*). Русское правительство, в лице председателя совета министров, не признает за этой палатой, т.е. за русским народом, которому оно обязано служить, права высказать ему доверие, а тем паче недоверие; но от ответственности и перед историей правительство не уклонится. Однако и здесь, в его глазах, все обстоит благополучно: оно не боится суда истории, оно заранее видит себя неосудимым. Но я скажу: это симуляция. Это неправда. Совесть нельзя заглушить никакими аргументами, и я уверен, что суда истории они боятся. И недаром. Есть вещи, которые простить невозможно ни при каком миролюбивом настроении. И мы не простим нашей крови, которой военно-полевые суды "аки воду лях и лях". Не простит вам этого и история. Вам нет прощения на суде истории. Но, может быть, есть надежда на снисхождение, и если вы хотите заслужить его, скорее за нами на эту трибуну со словами покаяния: "долгой военно-полевые суды! Немедленно долой узаконенное бессудное убийство!" Кровавого пятна вам не смыть, но тогда, может быть, оно потускнеет. Я говорю вам, правительству: пускай этот раз осуществится небывалое дело; пусть хоть раз оно прислушается к голосу народа, пусть хоть раз оно возвысится, склонившись перед волею народа!

Господа! Здесь перед вами выступал военный человек. Этот военный человек беспощадно, с точки зрения офицера, осудил военно-полевые суды. Этот военный человек — кубанский казак. Я — донской казак. Я с гордостью ношу это славное и тяжелое звание. Славное — славной историей казачества; тяжелое — той ролью, которую последнее время заставляло играть служилое казачество русское правительство. Обманывая его видимостью прав, развращая фальсификацией привилегий, пользуясь железными тисками военной дисциплины, оно двинуло казачьи полки против освободительного движения. Но так может быть только до поры до времени. Я говорю вам, высокая палата, скоро наступит то время, и наступит оно, когда ни один казак не поднимет нагайки.

(*Шум и крики справа. Бурные аплодисменты слева. Поляков, правый, представитель Астраханского войска, требует слова. Шум продолжается. Гр. Бобринский, Пуришкевич вскакивают и кричат.*)

Гр. Бобринский (*с места*). Я офицер, не оскорбляйте армии! (*Шум продолжается. Звонок председателя.*)

Поляков (*казак, правый. С места*). Я представитель казачества... (*Шум.*)

Председатель. Я призываю к порядку. Никто не имеет права говорить без разрешения председателя.

(Окончание в следующем номере.)

ПРАВДА

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
№ 41 (7007) | 11 февраля 1937 г., четверг | ЦЕНА 10 КОП.

Осуществилась мечта великого поэта

Нет такого уголка на советской земле, где бы имя Пушкина не проливало свет на бытие и развитие культуры. Сто лет назад славянской душой, правдивой рукой писателя и гениального поэта — дивного гения русского народа. Ого лет — огромный срок! Однако за этот период данить о великом поэте не только не угасла в сердце народа, но, напротив, имя его стало дорожить и ближе для миллионов людей.

Имя, освобожденный революцией от пут самодержавия и капиталистической эксплуатации, воспламенил жажду к культуре, утвердившей великие принципы свободы и демократии, обогатившей счастье людей жизни, проливает к культуре и просвещению.

Нельзя, поставленная перед жителями «Социалистической реконструкции и культуры» (Сорен) при его организации, была ясна. Он должен был возглавить борьбу переводов слоев научно-технических работников за новую технику, за выполнение планов сталинских пятилеток, стать проводником марксистско-ленинской идеологии в других технических интеллигентских.

В речах своего редактора Н. Бухарина журнал не выполнял этих задач. На протяжении пяти с лишним лет своего существования журнал «Сорен» систематически уходило от главного участка в решении важнейших задач, стоявших перед страной.

Эта позорная реакция с наибольшей яркостью показала, обнаружилась в последнее время, в условиях расцвета сталинского движения. В течение долгого времени реакция отклонялась от общепризнанных принципов на эту тему, не давая существовать ничему конкретному. Лишь в последние годы удалось вернуть журнал к его истинной цели.

Д. ОСИПОВ

ДОСТОЕВСКОМУ ОТВЕТИЛА ЖИЗНЬ

В сентябрьском номере журнала "Литературное обозрение" за прошлый год напечатана рецензия Владимира Абашева на самый первый выпуск "Странника". Довольно большая по объему статья посвящена в основном разбору нашего полустраничного обращения к читателям. Автор находит в тексте обращения решительные противоречия с основными материалами журнала и даже подозревает в этом "лукавый умысел" редакции. "Сегодня, в 1991 году", замечает он, пафос Достоевского "в утверждении особого достоинства и избранности странника не только не поражает, а скорее раздражает, как навязчивый мотив". И далее ставит ряд вопросов: "Ну не легкомысленна ли декламация об обмане и пошлости любой власти, когда миллионы соотечественников мучаются от расхлябанности государственных дел? Ну стоит ли утверждать, и в который уже раз, это губительное начало нашей духовной жизни — неприкаянность, бездомность, неспособность к длительным сосредоточенным усилиям по земному устройству... Культура? Да полно, странники ли строили русскую культуру и от странников ли зависит ее сохранение? Что может русский скиталец там, где речь идет о самых земных материях: государственных программах, субсидиях, продуманной политике?"

Не находя для себя интересным и нужным вступать в подобный рода дискуссии, предлагаем читателям познакомиться с тем, как бы "в развитии тем", со статьей из газеты "Правда" от 10 февраля 1937 года, приуроченной к 100-летию со дня смерти Пушкина. Автор этой статьи тоже недоволен Достоевским, тоже раздражается при упоминании о русских скитальцах...

Редакция.

Вчера в Большом театре состоялось торжественное посвященное столетию со дня смерти великого русского поэта А. С. Пушкина.

На заседании присутствовали товарищи Сталин, Молотов, Орджоникидзе, Андреев, Микоян, Чубарь, члены ЦК ВКП(б) и другие. На многочисленных собраниях и митингах трудящиеся Советского Союза рвали свою любовь к бессмертному гению русского народа.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В ПЛЕНУ БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ

Журнал «Социалистическая реконструкция и культура» 1931—1936 гг.

Вместо ясной постановки вопроса о технической морали автор занимается исторической болтовней. Он обнаруживает волею за в какой-то особой порою «установок старой науки», открывает специальную «идеологию» предательства, основанную на «технической и идеологической» разрыве с социализмом.

Дворяне Сталин говорил: «Теперь все будет в соответствии с техническими нормами. Но они ведь не с неба упали. И дело тут вовсе не в том, что эти технические нормы были составлены в свое время, как и раньше. Дело прежде всего в том, когда эти нормы стали»

время своего существования их поместить на одной баррикаде с идеологией буржуазной.

Так, в № 2 за 1932 г. келья провозглашает «отказ от идеологического обриса» людей.

В № 9—10 за 1932 г. редакция, отвергая за «устаревшее» учение Фейербаха, замечает об идеологии.

С наглостью, называет в № 3 идеологию, замечает об идеологии.

В № 1 за объявляет материализм, что «идеология» философия (т.е. идеология) энергии, оти-



Пятьдесят семь лет назад, 20(8) июня 1880 г., в нынешнем московском Колонном зале Дома союзов, тогда зале Дворянского собрания, произошла сцена, которая взволновала, потрясла, смутила современников. Переполненная зал публики, в большинстве молодежи, устроила небывалую, неслыханную овацию Достоевскому. Это была даже не овация, а скорее массовая истерика. Люди плакали. Кто-то упал в обморок, кто-то целовал руки писателя. Ему кричали: "Ты наш вождь! Веди нас!" Но куда вести, собственно, никто не знал.

Это была знаменитая "пушкинская" речь Достоевского. Она была, несомненно, самым значительным событием пушкинских дней, связанных с открытием памятника Пушкину в Москве, на нынешней Пушкинской площади. Сила этой речи в том, что Достоевский с присущей ему болезненной, нервической страстностью прямо поставил в связи с Пушкиным вопрос о социализме и о революции как важнейший вопрос для России и для всего человечества.

Достоевский поставил вопрос много резче, чем вся либеральная литература. Он сделал Пушкина непосредственным участником и даже учителем в спорах своего времени о путях исторического развития России. Понятно, почему его речь так взволновала молодую аудиторию.

Достоевский назвал Пушкина пророческим явлением русской жизни. В Пушкине как бы открывается будущее русского народа. Но, в сущности, пророчествовал за Пушкина сам Достоевский. Его речь потому и была такой страстной, такой вдохновенной, что он словно видел пред собой будущее, оно встало перед ним совершенно реальной картиной, и эта картина потрясла его.

По мнению Достоевского, Пушкин с гениальной силой выразил в своих произведениях два основных течения русской новейшей истории, два основных русских типа. Один — это русский "скиталец", мятающийся интеллигент, искатель правды, социалист и революционер. Черты его показаны в Алеко, Онегине. От них пошел в русской литературе "лишний человек", родились Печорин, Бельтов, Рудин и т.д.

Этот ищущий "правды" интеллигент, скиталец не может успокоиться на каких-нибудь частичных или национальных достижениях. Ему необходимо непременно всемирное счастье: дешевле он не примирится. Таков уж его мятежный, беспоконный дух.

Достоевский говорит, что это черта русская, национальная. Она присуща и самому Пушкину и выразилась в замечательном умении Пушкина перевоплощаться в другие культуры. Пушкин — испанец в "Каменном госте", англичанин в "Пире во время чумы". Пушкин был виднейшим поборником в России европейского просвещения. Он знал и любил западную культуру.

Однако Алеко и Онегин несчастны. На них лежит проклятье. Они бегут от людей, и люди бегут от них. Их вина в том, что они оторвались от своего народа, от родной своей нивы. Поэтому они при всем своем благородстве, при всей возвышенности своей мечты о всемирном счастье бесплодны. Так мстит народ за отрыв от него. Гордость Онегина и Алеко приобретает поэтому даже несколько иронический характер.

Пушкин противопоставляет им Татьяну как чудесную русскую женщину. Она тесно связана с народом, верна его морали, его традициям. Она не горда, не мечется в поисках другого мира, а скромно и твердо выполняет свой долг. Таковы и другие народные типы у Пушкина. Все они глубоко национальны, преданы своей родине и не гонятся за всемирным счастьем. Конечно, подлинные симпатии Пушкина, по Достоевскому, на стороне Татьяны, а сам Пушкин в изображении Достоевского от мятежных поисков всемирного счастья перешел к смиренному воспеванию консервативной "народности".

Такова характеристика пушкинских типов и самого Пушкина. В чем пророчество? В неизбежном приходе и неизбежной на Западе победе социалистической революции. Никакие силы не спасут от нее буржуазию. Это предвидел и предсказал Достоевский с экстазом ясновидца. Однако, по его мнению, неизбежная победа пролетариата во имя "всемирного счастья" — это вместе с тем и крах многовековой западной культуры. Воцарится некий хаос.

И вот тогда Россия в образе этакой коллективной Татьяны будет спасать мир от социализма, потому что среди мировой пролетарской революции только Россия сохранит народность и останется незатронутой. Русские Онегины должны это понять как урок и завет самого Пушкина. "Смирись, гордый человек... и прежде всего потрудись на родной ниве" — таков вывод из пушкинской речи Достоевского. Это будто бы сам

Пушкин говорит России, противопоставляя реакционный национализм крамольному интернационализму.

В этом основная ложь пушкинской речи Достоевского.

Пророчества поверяются действительностью. Со времени пушкинской речи Достоевского минуло 57 лет. Исполнились все сроки. Жизнь, как видим, сложилась совсем не по Достоевскому. Он с чрезвычайной силой выразил страх буржуазии перед надвигающейся социалистической грозой. Но он совершенно бессилён был разобраться в исторических путях. Социализм победил прежде всего как раз в России. Он принес Советской стране неслыханный расцвет народной культуры, народного творчества. И, словно в насмешку над пророчеством Достоевского, одичавшая в фашизме Германия выступает против социализма под знаменем реакционной "народности".

Пушкинская речь Достоевского не получила в свое время достойного отпора — да и некому было, в сущности, отвечать. А пошлой либеральной публицистике нечего и говорить. А народническая публицистика стояла на позициях, которые не так далеко расположены были от славянофильских позиций Достоевского. Народники тоже противопоставляли Россию погибающей от "язвы пролетариата" Западной Европе и находили для русского народа свой особый путь — хотя и "социалистический", но не революционный.

Достоевскому отвечает теперь наша жизнь. Как и 57 лет назад, у памятника Пушкину — народ, делегации, торжество. Совсем иные теперь делегации, совсем иное торжество. Тогда шествовали в рядах среди других трактирщики и присяжные поверенные, купцы и дворяне. Теперь и звания эти стали забываться. Тогда, писал Глеб Успенский, чествование памяти поэта пропадало "в звоне ножей, вилок, стаканов и рюмок, в чмоканье поцелуев". Это — московское купечество по ресторанам так проявляло свою любовь к Пушкину, которого не читало.

Теперь у памятника соберется подлинный народ. Тут старые и молодые, учащиеся и учащие, рабочие и военные, колхозники, люди, которых и во сне не мог бы увидеть Достоевский. Тут всего больше русские, но есть и другие народности, со всех краев страны. Все они социалисты — не только сторонники социализма, но и строители его. И все любят Пушкина!

Замечательно, что и Пушкин любит их. Ну можно ли представить себе, чтоб со своим приветом "Здравствуй, племя младое, знакомое!" Пушкин обращался к тем делегациям, которые шествовали вокруг его памятника в 1880 г., в 1899 г.? Что Пушкину были синодальные певчие, трактирщики, сановники в расшитых золотом мундирах и всякие иные потомки Булгарина, Бенкендорфа, Сенковского? Вздор это. Пушкин любил трудящийся народ, считал земледельцев, то есть крестьян, самым почтенным сословием. Пушкин мечтал о том, чтобы увидеть "народ неугнетенный". И теперь собираются вокруг его памятника сыновья и дочери народа, сбросившего вековой гнет, дети трудящихся, вольные люди, не знающие ни дворянского чванства, ни купеческой спеси.

Пролетарская революция решила проблему, над которой бились вместе с Достоевским поколения русской буржуазной интеллигенции: всемирное счастье и ли родина? Интернационализм и ли благо своего народа? — так стоял для них вопрос.

Это противоречие действительно неразрешимо для буржуазного общества, но его успешно разрешил и в теории своей и в практике коммунистический пролетариат. Ленин показал в статье "О национальной гордости великороссов", что подлинная народность, ничего общего не имеющая со смиренным и рабьей покорностью господствующим классам, тесно связана с интернациональной революционной борьбой, с борьбой за всемирное счастье. Сталин обосновал большевистскую национальную политику, которая полное освобождение народов и их национальный расцвет соединяет неразрывно с интернациональной солидарностью и борьбой рабочего класса всех стран.

Да, меньше чем на всемирном счастье не помирится русский человек в Советском Союзе! Но это не только русская на-

циональная черта. Это историческая черта победившей пролетарской революции. Так чувствует каждый сознательный гражданин Советской страны. Ему близко и дорого счастье всех трудящихся на всем земном шаре.

Но нисколько не скиталец советский человек. Он очень тесно связан с землей, со своей родиной. Он — участник великой социалистической стройки. Он горячо любит свое отечество. Скитальчество Онегиных не является монополией русской буржуазной интеллигенции. Это историческая черта, которая как раз в наше время лежит как проклятие на интеллигенции Западной Европы и Америки. Лишних людей уже давно нет в Советской стране. А за пределами Советского Союза их сколько угодно.

Наша советская молодежь, воспитанная в социалистической среде, не понимает даже этого привычного деления и противопоставления: родина и всемирное счастье. Наша Татьяна горячо любит свой народ, поэтому любит и Пушкина, но она живет, конечно, мыслью о всемирном счастье, мечтой о победе социализма во всем мире. Иначе и не может быть. Одно связано с другим. В этом глубочайший, революционный смысл победного построения социализма в одной стране. Современные отщепенцы, бросившиеся в отчаянную борьбу против строительства социализма в Советском Союзе и пытавшиеся прикрыть свое черное дело революционными фразами, на самом деле разоблачили себя как предатели интернациональной борьбы пролетариата и как предатели социалистической родины. Это не Алеко — куда уж! — а троцкистские шпионы, в которых злорадия вытравилась и мысль о всемирном счастье, и любовь к родине.

Пушкин близок и дорог Советской стране как великий русский национальный поэт. Чаруют созданные им образы, пленяет его слово. С каким увлечением читает его теперь вся наша страна! Пушкин ненавидел гнет. Он сам поставил себе в заслугу то, что воссвободил свободу. Кто может это оценить больше, чем народ, освобожденный от гнуснейшего гнета: от власти капиталистов и помещиков.

10 ФЕВРАЛЯ 1937 Г., № 40 (7006)

Ленин и Пушкин

Пушкин был в числе любимейших писателей Ленина.

Ленин постоянно читал и перечитывал Пушкина. Н. К. Крупская вспоминает, как в сибирской ссылке Ленин находил отдых в чтении Пушкина. «Я привезла с собой в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил их около своей кровати рядом с Гегелем и перечитывал их по вечерам вновь и вновь. Больше всего он любил Пушкина», — пишет Н. К. Крупская. О том же говорит в своих воспоминаниях и П. Н. Делешинский: «Он (Ленин) никогда не прочь в очень редкие минуты своего отдыха заглянуть в какой-нибудь томик Шекспира, Шиллера, Байрона, Пушкина».

В текстах Ленина встречаются многие образы, созданные мировой литературой. Чаще всего Ленин пользуется литературными образами для острых сатирических разоблачений. Вот почему Ленин так часто цитирует Салтыкова-Щедрина. Цитаты из Пушкина встречаются у Ленина гораздо реже. Но некоторые образы великого русского поэта оживают под пером Ленина, приобретают новый глубокий смысл.

«Услышавши суд глупца...» — эти известные слова из пушкинского сонета «Пору» взяты были Лениным как заглавие работы, изданной в 1907 г. и представлява-

молчанье это уже говорит громким голосом приближающегося восстания. История учит, — ее сегодняшние уроки, по словам Ленина, «пригодятся завтра, в другом месте, где сегодня еще «безмолвствует народ» и где в ближайшем будущем в той или иной форме вспыхнет революционный пожар» (т. VII, стр. 83).

Пушкинский образ насытился со дня великого 1905 года. И в том же широко раскрыто его огромное содержание, — вскрыто в гневных, отчетливейших словах: «В будущем... вспыхнет пожар». Ясно, как именно в этот пушкинский образ.

Ленин прибегает еще к другому обобщению. Речь идет о «расселенном и беспощадном» Ленине этих пушкинских привлекательных особенностях в пушкинистов.

Пушкин пристальнее бочайшим вниманием самого Пугачева, ственно воспринимает может быть, да Пушкин ставит енной революцией вается над н

Пушкин стремился к культуре, к знанию. Ему были близки передовые люди, передовые явления его времени в Западной Европе. Он был европейцем в царской России. Достоевский прав: изумительно его искусство перевоплощения, его внутренний интернационализм. Пушкин был чужд национальной исключительности. И этим он тоже близок нам, нашей современности.

Интернациональный размах творчества Пушкина соединен с его глубоко русским, подлинно русским национальным обликом. Он — великий русский поэт по своей связи с народом, с народным творчеством. Пушкин создал русский литературный язык. Это значит — он создал предпосылки развития русской культуры. Но он и сам — великолепное, гениальное создание русского народа, русской культуры, свидетельство богатства и шири русского народного творчества.

«Смирись, гордый человек!» — требовал Достоевский от русской интеллигенции, от всего русского народа. Этому же смирению учил Пушкина генерал Бенкендорф от имени царя. И этого смирения, отказа от борьбы за всемирное счастье требует теперь от нас вся капиталистическая реакция.

Пушкин близок и мил Советской стране еще и потому, что он не смирился. Советский народ горд своей победой, своей страной, своими успехами в строительстве социализма, своей новой культурой. Он горд своим положением ударной бригады международного пролетариата, горд сознанием того, что на его стороне все передовые, культурные элементы человечества.

Имя Пушкина обходит теперь весь мир. Его читают в странах, где недавно только десятки знали и слышали о нем. Он завоевывает новые миллионы читателей на всех языках. Пушкин не был социалистом. Но он теперь шествует по миру — великий пропагандист русской культуры, так как принадлежит он русскому народу — великому народу Советской страны.





Статья иллюстрирована рисунками Павла Бунина, гравюрами Владимира Фаворского и Николая Уткина

На беловом автографе "Бориса Годунова" Пушкиным поставлена дата окончания работы — 7 ноября 1825 года. Через месяц с небольшим произошло восстание декабристов. Бунтом на Сенатской площади датируется начало русского освободительного движения. Советский строй сделал базисным понятием идеологии именно вооруженное восстание, создал собственную мифологию, в которой декабристы играют роль "культурных героев", "настоящих людей", с чьим личностным образом и "первопопустком" должны соотноситься события времени настоящего и перспективы будущего. История культуры и литературы призвана была обслуживать мифологиче-

ский заказ, то есть препарировать культурно-социальную ситуацию первой трети XIX века таким образом, чтобы не допустить и мысли о возможности критического анализа поставленной декабристами цели, уровня их политической, философской и нравственной зрелости.

А критика была, и исходила она не только от людей, слепо преданных монархии. Мятеж был осужден людьми, чьи имена являются гордостью русской культуры, — Карамзиным, Жуковским, Вяземским, Грибоедовым, Чаадаевым. Наиболее резко высказался Тютчев, в стихотворении которого поступок декабристов назван вероломством. Советской мифологии нравст-



К КОМЕДИЯ БЕДЫ

Александр БЕЛЫЙ

венные критерии противоположны, и потому Карамзин был превращен в консерватора-монархиста, умершего со страху перед обнаружившими себя революционными силами, Жуковский — в розовощекого идеалиста, Вяземский — в пресловутого "декабриста без декабря". Имя Чаадаева, позволившего себе расценить декабрьское событие как национальную трагедию, отбросившую Россию на полстолетия назад, вообще чуть не на семь десятков лет было изъято из книги бытия и упоминалось только в числе адресатов стихов Пушкина.

При бедности имен первого ряда русской культуры, благо-склонных к "перводеянию" декабристов, роль Пушкина приобрела особую политическую важность — национальный гений должен был своим авторитетом нейтрализовать мнение современников, более того, стать рупором, поэтическим глашатаем идей декабристов. В соответствии с этим идеологическим предназначением Пушкин в "Борисе Годунове" не только "воспел" бунт против царя, но и указал на существенное обстоятельство, недооцененное декабристами, — что именно народ играет центральную роль в любом восстании. "Свержение династии Годуновых и победа Самозванца обусловлены... "мнением народным", настроением народа, стихийно поднявшегося на своего угнетателя — царя Бориса. Эту главную идею трагедии Пушкин и стремился провести", — писал пушкинист С. Бонди. Пушкину присвоена ленинская прозорливость, а заодно и развитое вождем понятие об относительности (классовой природе) нравственности: участие народа в восстании делает излишними муки совести, вот почему "Борис Годунов", по словам того же автора, не "трагедия совести царя-преступника", а "чисто политическая и социальная трагедия".

Пушкин закончил пьесу до восстания (о котором, по его словам, кричали тогда на всех перекрестках). В финальной сцене, следующей за расправой над детьми Годунова, народ приветствует нового царя. Но как бы воспринималась пьеса, если бы восставшие победили? Как поздравление с победой, последовавшей за истреблением царской семьи? Известно, что в планы декабристов входило "истребление покойного императора и всего царствующего дома" (подбор убийц вменялся в обязанности Бестужеву-Рюмину). А как бы сами победители снисались к пьесе, позволившему себе столь "безнравственный" параллель, добавившему в художественной форме сценарий узурпации власти? Не возмечную ли расправу с ним со стороны заговорщиков взмет в виду Пушкин, когда в письме П.А. Плетневу от 4-6 декабря, за неделю до восстания, называет себя пророком и намекает, что ожидает участи Андрея Шенье?

"Вас развратило Самовластье", — писал Тютчев о декабристах. Анализ самовластья составляет самую суть художественного исследования Пушкиным декабристских идей тираноубийства и событий, неотвратимо последующих за этим актом в России с ее историей, нравами, культурой. Из истории взята "модель" — взлет и падение Годунова.

Последуем за Пушкиным без "суеверия и односторонности".

"... должно сознаться, — писал Надеждин, — что Борис, под к а р а м з и н с к и м углом зрения, никогда еще не являлся в столь верном и ярком очерке. Посмотри даже на мелкие черты: они иногда одною блестящею освещают целые ущелия души его!" Критик заметил важную особенность освещения, в котором находятся герои драмы. Этот свет — пульсирующий, динамичный, позволяющий увидеть "яркий очерк" фигуры, но вместе с тем как бы и неверный, сомнительный, в той же сте-



пени реальный, как и ирреальный. При таком освещении обнаруживается, что у Бориса глаза как-то по-разному посажены, неодинаково видят одни и те же предметы.

Свой грех, тяжкий грех, с точки зрения Божьих заповедей, Годунов знает и мог бы признать правоту народа, обвиняющего его во всех несчастьях: "... кто ни умрет, я всех убийца тайный". Но нет. Даже "предчувствуя небесный гром и горе", он не может взять на себя вину перед Богом. Что за aberrация? Или Годунов с собой в прятки играет?

Первоначально Пушкин предполагал и в нем способность к раскаянию. В плане трагедии есть запись: "Год. в монастыре. Его раскаянье". В окончательном варианте этот ход опущен. Отказ от самообвинения перед явными знаками Божьего гнева не есть хитрость слабой души. Что же за этим стоит?

На смертном одре, давая последние наставления сыну, Годунов произносит весьма показательную фразу:

Я, с давних лет в правленье искушенный...

Подобная фраза-блинец срывается с языка другого героя пушкинских драм:

Тогда

Уже дерзнул, в науке искушенный...

Благодаря Сальери мы можем несколько уточнить смысл годуновской мысли: он искушен в науке управления. Слово "наука" должно было появиться в речах Годунова. И оно появляется:

Учись, мой сын, наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни...

В характерах Годунова и Сальери чувствуется некий параллелизм, позволяющий допустить, что Годунов тоже "поверил алгеброй гармонию" и отделил умопостижимый мир реальности от метафизического, отодвинув последний в область фантазии, выдумки, фантома:

На призрак сей подуй — и нет его.

Реальный смысл имеет только бытие, постигаемое разумом. При первой "затейливой" вести о самозванце единственное, что хочет знать Годунов, — достоверен ли факт смерти царевича. Он сильно взволнован, но после уверений Шуйского, что подмены, делавшей появление живого Димитрия возможным, не было, мгновенно успокаивается. С точки зрения здравого смысла возвращение с того света невозможно. Более того, сама традиционно-религиозная интерпретация событий, имеющая столь важное значение в глазах народа, просто смешна. В смешном положении оказывается высший религиозный авторитет государства — патриарх Иов. Он рассказывает Годунову о чудесном исцелении пастуха "у гробовой царевича доски", позволяющем церкви считать убиенного царевича святым. Ловкий царедворец Шуйский, довольно быстро подстроившийся под образ мыслей Годунова, срезает патриарха рассуждениями ироническими, если не кощунственными:

...кто ведает пути
Всевышнего? Не мне его судить.

Благодаря Шуйскому, который так ловко "выручил" Годунова, патриарх оказался в дураках. Противоречие заметил Грибоедов. Пушкин вроде бы соглашался. "... патриарх, действительно, был человеком большого ума; — писал он, — я же по рассеянности сделал из него дурака". Это писано в 1829 году, и "рассеянность" можно было скорректировать в печатном варианте 1831 года. Однако Пушкин ничего не исправил. "Рассеянности" не было. Патриарх выедит дураком, поскольку его мысль и совет лежат в той системе миропонимания, от которой Годунов ушел. В новой, "научной" системе мышления они оказались, мягко скажем, неуместными. В этой системе глад есть только глад, огонь есть только огонь и ничего больше. Все это ясно, "как простая гамма". Годунов и относится к этим событиям как разумный правитель: раздает хлеб, строит дома. Народ тоже, по его схеме, должен дело делать, а не в грехах каяться, платить добром за добро — реальное, а не мифическое.

Мировоззренческая система царя раздвоилась, но одна ее половина не заменила полностью вторую. По отношению Годунова к особому рода переживанию, называемому мучениями совести, можно сказать, что оба взгляда на мир, как глаза,

принадлежат одному лицу. "Но я клянусь: Ваш правый глаз грустней, внимательнее, строже, а левый — веселей, моложе и больше выражает Вас..." — М. Петровых сумела выразить искомую "разноречивость" взгляда. Один глаз видит весь ужас последний совершенного преступления для внутреннего состояния человека; для другого убийство царевича является всего лишь досадной помехой, случайным, малым пятном на безупречном жизненном пути. Вспомним, что писал Пушкин по поводу критик, дошедших до него после опубликования в 1829 году отрывка из трагедии: "Люди умные обратили внимание на политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми." То есть весь комплекс представлений, связывающих землю и небо в единый космос и, в частности, определяющий нравственные табу, является "запоздалым". Недовольство "людей умных" подразумевает, что есть какая-то другая, современная философия, эти табу отменяющая. Был, очевидно, какой-то ход рассуждений, оправдывающих их переступление. Моральная сторона дела не игнорировалась, ее высший смысл не отвергался, но все это осознавалось как препятствие для достижения некоей важной для людей цели. В самой цели, казалось, уже нет расхождения с моралью, однако путь к ее достижению требует преодоления барьера, переступления нравственной пропасти. Отсюда — реплика-характеристика в драме:

Перешагнет: Борис не так-то робок!

Сформулирована ли Годуновым сама цель, придающая ему силу, оправдывающая волю к переступлению? Да.

Я думал свой народ

В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать...

При таком подходе преступление обретало черты своеобразно понятой жертвенности, придававшей фигуре Бориса в глазах современников Пушкина, прозревших замысел многоходовой годуновской комбинации, черты трагического величия. Прочитываем, чтобы не быть голословными, отзыв Гоголя о "Борисе Годунове": "О, как велик сей царственный страдалец! Столько блага, столько пользы, столько счастья миру — и никто не понимал его..." Очевидно, "никто" — это народ, не понимавший счастья своего. А как раз на понимание "люди умные" очень рассчитывали в своих противопоставленных "устаревшим" помыслах. Вся схема преступления и оправдания уже была описана Рылеевым. В думе "Борис Годунов" монолог Бориса держится практически на тех же опорных точках, что и у Пушкина, но акценты совсем иные. Приведем финал:

"...О, так! хоть станут проклинать во мне
Убийцу отрока святого,
Но не забудут же в родной стране
И дел полезных Годунова".
Страдая внутренно, так думал он;
И вдруг, на глас святой надежды,
К царю слетел давно желанный сон
И осенил страдальца вежды.
И с той поры державный Годунов,
Перенося гоненье рока,
Творил добро, был подданным покров
И враг лишь одного порока.
Скончался он — и тихо приняла
Земля несчастного в объятья —
И загремели за его дела
Благословенья и — проклятья!..

Вот так! Какой смысл восклицать: "Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — богородица не велит", если "убийство отрока святого" понятно небесам, если они даруют успокоение совести (сон), если земля не возмутится, а тихо примет в объятья, если не Бог насылает наказание, а глупый рок? Годунов, по этой схеме, мог бы и перекреститься. Помолясь, конечно же, богу пользы, с надеждой, что народ эту пользу оценит и возблагодарит благодетеля, тем самым смывая "проклятья".

И смою черное с души пятно
И кровь царевича святую! —

как убеждал Рылеев.

Слово "польза", повторяемое и Гоголем, и Рылеевым, и пушкинскими персонажами, символизирует философию, приверженцами которой считали себя "люди умные", в том



Самозванец

числе будущие декабристы, — философию французского Просвещения. Суждения выдающихся представителей этого направления европейской мысли могут быть хорошим гидом в лабиринте пушкинской пьесы.

Обратим внимание на самооценку Годунова у Пушкина. Царь говорит о своем преступлении как о мелочи, малом зле ("единое пятно, единое, случайно завелось") по сравнению с той пользой, которую он хотел принести и действительно принес народу. У рылеевского Годунова "пятно" полновеснее: "смою черное с души пятно". Случайно ли это различие? Может быть, Пушкин лучше Рылеева помнил Вольтера, его "Кози-Санкту" с красноречивым подзаголовком "Малое зло ради великого блага"? Повесть начинается с посылки: "Ложно изречение, гласящее, что не дозволено вершить малое зло, из коего может проистечь великое благо". Если "ложно изречение", то, стало быть, "малое зло" дозволено.

Дозволенность переступления первой заповеди христианина продемонстрировал другой философ, считавший себя учеником фернейского мудреца: "...польза есть принцип всех человеческих добродетелей и основание всех законодательств... этому принципу следует жертвовать всеми своими чувствами, даже чувством гуманности" (Гельвеций). Годунов вполне в духе этой философии мог не считать себя злодеем, ведь и он, и его окружение "думали, что смерть Димитриева необходима для безопасности правителя и для государственного блага" (Карамзин).

Век "исследования и порицания", отразившийся в драме Пушкина, был замечен современниками. Надеждин не преминул заметить, что Пимен у Пушкина "Гердера начитался". Бестужев, не вникая в детали, сказал, что Пушкин заблудился в XVIII веке.

Второгодник, по мнению своих оппонентов, Пушкин видит то, чего они не видят: что идеи входят в кровь, в подсознание, влияют на современное состояние умов, на события, происходящие или намечающиеся как весьма вероятные. "Мы живем во дни... переоборотов", — заметил он как-то Погодину. "Переобороты" не берутся ни с того ни с сего, а есть следствия импульсов, толчков, "землетрясения" в сознании, волна от которого, двигаясь из прошлого, догоняет настоящее. Волна, произведенная просветительской философией, догнала Россию. Пушкин придает этому обстоятельству значение чрезвычайное и трагическое. Поэт не знал, что именно Александр II погибнет от брошенной ему в ноги бомбы, но что способы действия для достижения благородных целей будут такого рода, знал. Трагизм пушкинского видения значительно понятнее сейчас, когда ясно, что наше сознание по существу своему просветительское и, несмотря на все смены философских систем, произо-

шедших со времен Вольтера, осталось прагматически-бесчеловечным.

На смертном одре Годунов признается в содеянном злодействе. Вся жизнь ему "снилось убитое дитя", и, казалось бы, об этом он и должен заговорить, облегчить душу перед самым дорогим существом, перед сыном. Но Пушкин строит текст так, что не убийство Димитрия оказывается главной темой покаяния.

Я подданным рожден и умереть
Мне подданным во мраке б надлежало...

Главное в том, что он не имел права на трон. Презрение традиционного, освященного верой и почитаемого народом права наследования царской власти и есть самый корень годуновского преступления. Оно совершилось уже тогда, когда умом своим он решил, что трон — всего лишь место, хоть и "высшей власти", когда посчитал предрассудком, "миражом" всю ту тонкую душевную, нравственную материю, из которой соткана святость царского сана. Убийство уже заложено внутри презрения, оно вторично, и говорить о нем специально Годунов не считает нужным:

Но я достиг верховной власти... чем?
Не спрашивай.

Пушкин не хочет, чтобы читатель удовлетворился понятным, но упрощающим мотивом. "Право на власть" является для поэта моментом чрезвычайно важным в нравственной оценке спорных фигур истории и современности.

Параллельно с работой над драмой Пушкин внимательно образом анализирует "Анналы" Тацита, спорит с авторитетным историком древности в оценке тирана Тиберия. Выводы Пушкина оказываются по ряду тацитовских построений прямо противоположными. Воссоздавая сложный ход пушкинской мысли, Н. Эйдельман показал, что поэт, далекий от нравственных "декламаций", признает правомерность действий Тиберия, включая убийство Агриппы Постума. Внук Августа "имел право на власть", был опасен, и Тиберий, руководствуясь "государственной необходимостью", поступил, как это ни жестоко, правильно. Историками уже проводилась параллель между убийством Тиберием единственного внука умершего принцепала Августа и убийством Годуновым последнего сына Ивана Грозного. Что же отличает Тиберия от Годунова? Почему Пушкин "оправдывает" одного, но осуждает другого?



При всем сходстве ситуаций есть существенное различие: Тиберий тоже имел право на власть и получил ее открыто, в согласии с принятым тогда "ходом вещей". Годунов же не имел такого права, взял власть силой, в нарушение принятых норм жизни.

Работа над "Анналами" предваряла "крамольное" суждение Пушкина в записке "О народном воспитании". Напомним его: "Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря — честолюбивым возмутителем".

Высказывание важное, но интерпретация, перевод его с русского языка начала XIX века на современный — дело хитрое. В декабристских кругах Брут, кесарь — имена знаковые. Брут — свободолюбец, республиканец, его именем оправдывалось деяние цареубийства, кесарь — деспот, тиран, прообраз царствующего императора. Пушкин же как-то смешивает все карты.

Чтобы понять Пушкина, дадим слово младшему современнику Вольгера — Вовенаргу. "Разве Цезарь не был награжден всеми дарами, кроме одного — права на трон? Он являл собой образец доброты, великодушия, благородства, отваги, милосердия, никто не мог бы столь же умело править миром и заботиться о его благоденствии, а когда бы происхождение и гений Цезаря соответствовали друг другу, жизнь его была бы безуп-



речна, но он силой добился трона, и нашлись люди, которые сочли себя вправе причислить его к тиранам". О том же задолго до Вовенарга говорил Цицерон в связи с убийством Цезаря, преступившего, по словам Цицерона, "все божеские и человеческие законы ради того, что он для себя придумал в своем заблуждении, — ради принципата": "...неужели запятнал себя злодеянием тот, кто убил тирана?... Римский народ... не думает этого, он, который из всех достославных поступков именно этот считает прекраснейшим".

Итак, не надо порочить республиканских рассуждений (они были важны для Пушкина). Не надо порочить Брута, как это делала слепая, непросвещенно-монархическая братия. Надо следовать "духу народов".

Понятие права, базирующееся на понимании "духа народов" и, в частности, на исторически сложившихся представлениях о божественном происхождении царской власти, отличается от секуляризованного юридического понятия права как человеческого установления, как простого свода законов, извест-

ных правителю и народу. Кажется, это отличие и послужило главным источником соблазна для Годунова. Оно позволяло действовать по пословице: "Не пойман — не вор". Поэтому Годунов так тщательно разыграл процесс своего избрания на престол, так продуманно вынуждал и бояр и народ к исполнению всех процессуально необходимых действий, так основательно создавал картину полной законности своего воцарения.

Пораженный ударом болезни, Годунов признает, что убийство царевича было не случайное "единое пятно", что святость власти — не предмет торга, что он виновен перед Богом. Но и тут весь ужас содеянного не доходит до него. Его последняя надежда — что он один за все ответит Богу и сын его будет царствовать уже по праву.

Однако с отторжением святости от престола исчезло и само право в прежнем его понимании. Оно трансформировалось в новое право, основанное на дерзости. Дерзость и является видимой движущей силой событий трагедии. Это мы видим уже в начале из разговора Шуйского с Воротыньским:

Воротыньский
...ведь мы б имели право
Наследовать Феодору.

Шуйский

Да, боле,

Чем Годунов.

Воротыньский

Ведь в самом деле!

Мысль названа. Далее уже — дело методов.

Давай народ искусно волновать,
Пускай они оставят Годунова...

После небольшого разговора с предельной откровенностью формулируется и само "право":

Он смел, вот все — а мы...

Словом, "кто смел, тот и съел", тот и на трон сел. По той же модели, по которой

Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,

смог взять "венец и бармы Мономаха", может поспеть за боярством родовым и незнатный Басманов:

У царского престола стану первый...
И может быть...

Это "право", открывающее дорогу к престолу любому самозванцу, любому отрепью. Даже фамилию человеку, дерзнувшему воспользоваться годуновской "реформой права", кажется, заготовило для Пушкина само провидение. "Всякий был годен, чтоб разыграть эту роль", — заметил Пушкин, отвечая митрополиту Платону.

Борьба за власть, лишенную таинственного ореола, превращается в дурную бесконечность, в жуткую чехарду, в комедию. В этой драке за трон ни один из соперников не связан с народом более, чем другой, не имеет большей поддержки или симпатии. Но каждый из них будет требовать от народа клятвы в верности, присяги и молитв за собственную персону. И народ волей-неволей должен кричать как послушная марионетка: да здравствует царь такой-то!

Фарс да и только.

"Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве", — уточнял "раб Божий Алекс. сын Сергеев Пушкин". Значительность Бориса как трагического героя современниками поэта не оспаривалась. Однако с тем, чтобы ставить Гришку наравне с Борисом, критикам соглашаться не хотелось. Виною было патристическое чувство, не допускавшее никакого иного чувства к виновнику смутного времени кроме осуждения. В пушкинском же отношении к этому герою сквозит странная мягкость. Он — "милый авантюрист". Значит ли это, что и сама смута, по Пушкину, есть всего лишь милая авантюра?

Трижды поднимался и падал Гришка во сне. Это дурной знак — не удержать ему власти. Судьба его предсказана. Но основной смысл этой фигуры лежит у Пушкина в другой плоскости. Борьба с узурпатором, "святоубийцей", как назвал Го-

дунова Карамзин, — дело правое. Григорий "избран" для наказания Годунова и из авантюриста превращается в освободителя. Это сближает пушкинского самозванца с героями народных сказок.

Заметим, что Григорий, образно говоря, выходит на сцену из сна и в сон же возвращается, покидая сцену. Этот герой принадлежит бестелесной субстанции сна, миража, идеи в той же степени, что и телесной реальности. Поэтому-то, попав "из грязи да в князи", он уже имеет в себе все необходимое для князя: и породу ("царская порода в нем видна"), и образованность, и изящество манер и речи, которые не мог так быстро приобрести беглый иннок. Эти детали приметные, но побочные. Прямой же знак светлой стихии, которой принадлежит Григорий, — невозможность для Пушкина, прельщавшегося мыслью о трагедии без любовной интриги", отнять у него это чувство. "Оставь герою сердце! Что же он будет без него? Тиран..." — устойчивое убеждение Пушкина. Если есть сердце, не могло не быть любви. В набросках предисловия: "...любовь весьма подходит к романтическому и страстному характеру моего авантюриста"...

Особенности характера, которыми Пушкин наделяет этого героя, сформированы не русской историей Смутного времени, а иным веком и иной культурой. На это указывает сам Пушкин в автокомментарии к драме, отмечая общие черты у Григория с Генрихом IV: "Подобно ему он храбр, великодушен и хвастлив, подобно ему равнодушен к религии — оба они из политических соображений отрываются от своей веры, оба любят удовольствия и войну, оба увлекаются несбыточными замыслами".

Пушкин не очень точен там, где речь идет о равнодушии к религии и любви к удовольствиям. Но важно, конечно, не то, насколько убедительно проведена Пушкиным данная параллель, а то, что она вообще присутствовала в его сознании, обдумывалась, несла в драме свою собственную нагрузку.

Почему именно Генриху уделено столько внимания?

Король-"конституционалист", при котором Франция достигла наибольшего расцвета, выделен философами-энциклопедистами как правитель, наиболее полно отвечающий идеалу "просвещенной монархии". Его прославлял Вольтер в "Генриаде", на его примере развил в "Энциклопедии" свой анализ политической власти знаменитый Дидро.

Ход рассуждения последнего по принципам подхода, по логике и тем более по выводам кажется чрезвычайно близким к пушкинскому. Мысль философа не оторвана от "массового сознания", не порывает сложившихся в ходе культурно-исторического развития народа связей. Касаясь монархии в той стадии, когда "ее поддерживает ясно выраженное согласие подвластных", философ рассматривает отношения между народом и монархом, при которых применение этой формы власти является "законным, полезным для общества, выгодным для государства и удерживает ее (власть. — А.Б.) в определенных границах". Человек целиком принадлежит лишь Богу, но не другому человеку, включая монарха, то есть человек — свободен. "Бог... позволяет людям устанавливать порядок подчинения, при котором они повинуются одному человеку ради общего блага и поддержания общества, но Богу угодно, чтобы это было разумно и в меру, а не вслепую и безусловно, дабы тварь не присвоила себе прав творца. Любая иная покорность представляет собой настоящее преступление идолопоклонства". Если эта мера нарушена, если единственным и окончательным побуждением своих действий называют волю другого, пусть наиболее высоко вознесенного человека, то это уже "тягчайшее преступление, оскорбление величества божества". В таком случае власть Бога становится "пустым звуком, прихотью политики людей, которой в свою очередь мог бы воспользоваться неверующий ум. В результате спутались бы все идеи могущества и подчинения, и государь потешался бы над Богом, а подданный над государем".

Не кажется ли, что Дидро весьма проницательно назвал причины "потехи", разыгрывающейся на подмостках пушкинской комедии?

Исходная точка рассуждений Дидро — свободный человек. Из свободы вытекает и основная "родительская" метафора монархического правления. "Короли... царствуют, но лишь постольку, поскольку... царствуют как отцы".

Эта метафора несколько раз обыгрывается у Пушкина. Юродивый обвиняет Бориса в жестокости, произволе по отношению к "детям", в присвоении себе прав, принадлежащих только Богу. Далее по ходу действия эта метафора возникает в разговоре Годунова с Басмановым, в котором народ уподоблен отроку.

Годунов, кажется, знает то же, что и Дидро: власть родительская "в естественном состоянии прекращается, как только дети научатся руководить собой". Знать-то знает, но сами отношения все же понимает иначе. Поэтому в разговоре с Басмановым метафора "отец-дети" удваивается, поясняется другой, более точно отражающей политический смысл монархии в понимании двух собеседников, — метафорой "седок — конь" ("Так борзый конь грызет свои бразды", "Конем спокойно всадник правит"). Из первой устраняется смысл "свободы", родительской заботы. Животное самим Богом дано в услужение человеку. Вместо свободы и равенства перед Богом утверждается божественная несвобода, оправдывающая крепостное состояние подданных.

А Григорий — что он имеет в виду, называя своих людей детьми? Самозванец проще, доступнее Годунова, сам опрашивает пленных, позволяет им весьма прямые высказывания в свой адрес ("вор, а молодец"), смеется, чего уж никак нельзя ждать от Годунова. Григорий в драме — создание Пушкина, а не поэтическое воспроизведение персонажа "Истории" Карамзина. И если для Пушкина существенно различие между "отец — дети" и "седок — конь", то оно должно как-то "выстрелить" на самозванце. И выстреливает.

Вспомним ремарку к той сцене, где оказывается ранен конь Лжедмитрия: "В отдалении лежит конь издыхающий". Любопытна инверсия во фразе — спокойнее и естественнее звучало бы "издыхающий конь". Инверсия придает сцене некоторую приподнятость, торжественность, приличествующую смерти человека, но не животного. Этой приподнятости, зна-



чительности происходящего для Григория не видит его советчик Г. Пушкин ("Ну вот о чем жалеет! Об лошади! когда все наше войско побито в прах!"). Нечувствительность к различию смерти лошади и человека и в самом деле была бы странной. Но в предыдущей битве близ Новгорода-Северского Лжедмитрий, победив, приказывает "щадить русскую кровь". "Конь" и "русская кровь" превращаются в синонимы благодаря сочувствию "седока", правителя, к управляемому. "Бразды" между ними ослабляются настолько, что метафора "седок — конь" теряет определенность:

...что делать? снять узду
Да отстегнуть подпругу, —

и требует пояснения через смысл "отец — дети", через свободу. Оно и появляется, нужное слово, оно действительно владено сознанием самозванца:

Пусть на воле
Издохнет он.
(Разудывает и расседывает коня.)

Грустен контекст, в котором стоит "воля", грустно было Пушкину рассуждать о свободе в России.

Кажется, легко понять чувства Пушкина и объяснить их сокрушенностью поэта владичеством крепостного права в России. Для школьного уровня разговора такого ответа достаточно. Но достаточно ли его, чтобы понять, почему "свободные" люди объединяются вокруг Годунова, зная, что он убийца законного преемника власти, а "рабы", и в первую очередь Григорий, ведут себя противоположным образом? Кто же на самом деле раб? Эквивалентно ли социальное состояние человека его состоянию духовному? Является ли крепостной человек по существу своему рабом, или социальный статус того не означает? Не следует ли думать, что в ходе российской истории совершалось своеобразное, отличное от европейского, становление человека и для описания русского крестьянина нужны иной подход, иная терминология? "Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи?" — это сказано Пушкиным позже (1834) как возмущение на рассуждение Радищева, но вопрос поставлен в "Борисе Годунове". Если у народа рабское сознание, то откуда бы возникла "дерзость" у Григория подняться на самого Годунова?

В Григории "младая кровь играет", играет с той же силой, как когда-то в самом Пимене. Ученик завидует бурной, полной опасности и риска жизни своего наставника, восхищается им, хотел бы проникнуть взором за "строгий лик" и узреть скрывающийся за ним опыт, а Пимен в свою очередь коли не сотворит молитвы вечерней, то летает во сне среди походов и боевых схваток своей молодости. У летописца и его подопечного родственные души, оба они чувствуют позицию опасного рукотворного дела. Дела — во главу кого или чего? В одной из заметок, возможно вне всякой связи с Пушкиным (хотя кто поручится?), Чаадаев писал: "Далеко не единственным побуждением к великодушным поступкам нашим служит сочувствие бедствиям ближнего; обычно побуждением служит простое желание напрячь деятельные способности души, испытать свою силу. Та же потребность подвигнуть себя без нужды какой-либо опасности в других случаях побуждает нас рисковать жизнью для спасения одного из нам подобных. Опасность имеет свою прелесть; мужество не только добродетель, оно в то же время и счастье. Человек создан так, что величайшее наслаждение из всех, ему дарованных, он испытывает, делая добро, — чудесный замысел провидения, пользующегося человеком как орудием для достижения своей цели — величайшего возможного блаженства всех созданных им существ".

"Игра крови" превращает Григория в орудие воли провидения. Оно его хранит, его знак горит на челе самозванца, видный всем, собирающимся под знамена Борисова супостата. Григорий по природе движущей им силы не чета остальным искателям престола.

Будущие декабристы представляли существующую монархию как деспотизм. Пушкин отдал дань этому умонастроению, но ход мысли, продиктовавший "Андрея Шенье", повел дальше, к рассмотрению якибинского деспотизма, оказывавшегося по мере знакомства с ним еще более страшным по механике своего устройства. "...я желал бы вполне и искренне хочу помириться с правительством", — писано Пушкиным из Михайловского. Размышления над историей России и влиянием на нее приходящих из Европы философских и политических идей заставляли Пушкина искать в националь-

ном опыте и национальной среде силы, способные противостоять деспотизму и в монархической и в якобинской формах.

В статье Радищева Пушкин назвал Дидро политическим циником. Резкие характеристики даны не только Дидро, но и Вольтеру и Реналю, но более всех — "холодному и сухому" Гельвецию с его "пошлой и бесплодной метафизикой". В Радищева, по мнению Пушкина, "виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает" доводы учителя. Пристрастность суждений о Радищеве связана, по-видимому, не с недооценкой этой личности ("действующей с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью"), а с общим раздражением на современников, охотнее излагающих, чем опровергающих, чужие мысли и мечты. Это свойство делает даже лидеров общества в глазах Пушкина истинными представителями полупросвещения.

Полупросвещение — термин, подхваченный у мадам де Сталь, за ним круг рассуждений, близкий Пушкину. Что, по мнению этой замечательной женщины, противостоит "полуразмышлениям, полусуждениям, смущающим человека, не просвещая его"? Ответим ее словами: "здравомыслящий подход к новым идеям". Это же имеет в виду и Пушкин. Не пересказ идей Бенгтама о допустимости оправданной жестокости, как у Рылеева, но трансплантация, усвоение европейской мысли в контексте культуры собственной страны, ее истории, обычаяв, мироотношения. В контексте российского бытия следовало ценить "спасительную пользу самодержавия". По разным причинам: потому, что "наше современное общество столь же презренно, сколь глупо"; что в нем наблюдается "отсутствие общественного мнения", "равнодушие... ко всему, что не является необходимою", "циничное презрение к мысли и к достоинству человека"; наконец, потому, что "правительству все еще единственный европеец в России" (письмо П.Я. Чаадаеву).

Но и это не самое главное.

При всей привлекательности идеала свободы, написанного на знаменах Французской революции, ее реализация обнаружила существенный разрыв республиканской идеи с идеалами нравственного бытия человека. Разрыв с религией резко упростил, ожестил отношения между людьми. Республиканское, демократическое государственное устройство — желаемая цель, но оно немислимо вне высшего, возвышающего человека начала, вне христианского пути Европы. Примечательна строка в письме Пушкина Чаадаеву: "Первоначально эта идея (идея Христа. — А.Б.) была монархической, потом она стала республиканской. Я плохо излагаю свои мысли, но вы поймете меня". Точнее было бы сказать не "стала", а "становится", то есть облагораживается, одухотворяется, очеловечивается. Эту тенденцию Пушкин отмечал во Франции, в "народе, который оказывает столь сильное религиозное стремление, который так торжественно отрекается от жалких скептических умствований минувшего столетия".

Что будет в России, если произойдет революция, первым шагом которой должно быть убийство царя? Что будет управлять собой вине зависимости от логических построений вдохновителей и исполнителей? Если история Годунова — модель грядущих событий, то каково пророчество Пушкина? Кстати говоря, на пророческую подоплеку драмы указывал И. Киреевский, мнение которого о "Борисе Годунове" было одобрено Пушкиным: "...все лица и все сцены трагедии развиты только в *одном отношении*: в отношении к последствиям царевубийства. (Разрядка моя. — А.Б.) Тень умерщвленного Дмитрия царствует в трагедии от начала до конца, управляет ходом всех событий ... дает один общий тон, один кровавый оттенок". С разрушением святости не только распадаются отношения в государстве, как описал Дидро, — сам народ обезчеловечивается, теряет жалость и сострадание. Завершение трагедии с криками народа "вязать Борисова щенка", с убийством детей и здравицами новому царю закономерно. И это предупреждение обществу, наглядная картина результата переворота. Не забудем, что драма была закончена до декабристского восстания: предупреждение имело смысл.

В 1831 году, когда драма увидела свет, предупреждать было поздно. Но идеи "Бориса Годунова" не потеряли и, прибавим, долго не потеряют своей значимости. Восстание декабристов произвело сильнейшее раздвоение в нравственном сознании русского общества. Само их выступление и тем более кровавый шаг, долженствовавший совершиться, были многими осуждены. Но сострадание, "милость к падшим", к людям, исполненным благородного желания переменить к лучшему российскую жизнь, нравственный ореол вокруг них, — все это обладало равно мощной эмоциональной и нравственной силой, приглушавшей голос осуждения. Его уже не расслышали потомки.



публицистика с уклоном в истерику

Александр СУКОНИК

Мне представляется, что сижу в комнате, и одна стена вдруг исчезла. И я на виду у всего мира, никуда не деться. Как на рентгеновском просвечивании. Чудеса да и только. Но чудеса мы здесь, на Западе, не любим. И отвыкли от них. Не то что в России, где чудеса ныне в необыкновенном изобилии и почете. Например, говорят, там на заре, как только всколыхнутся телевизионные волны, вся страна садится перед "ящиком", запасшись плошкой с водой, а по "ящику" какой-то Дядька Черномор проповедует-внушает всем прилив энергии и здоровья. А тут этих самых дядек проклятые либеральные, скептические и, конечно же, насквозь проевреившиеся средства массовой информации только и способны что преследовать

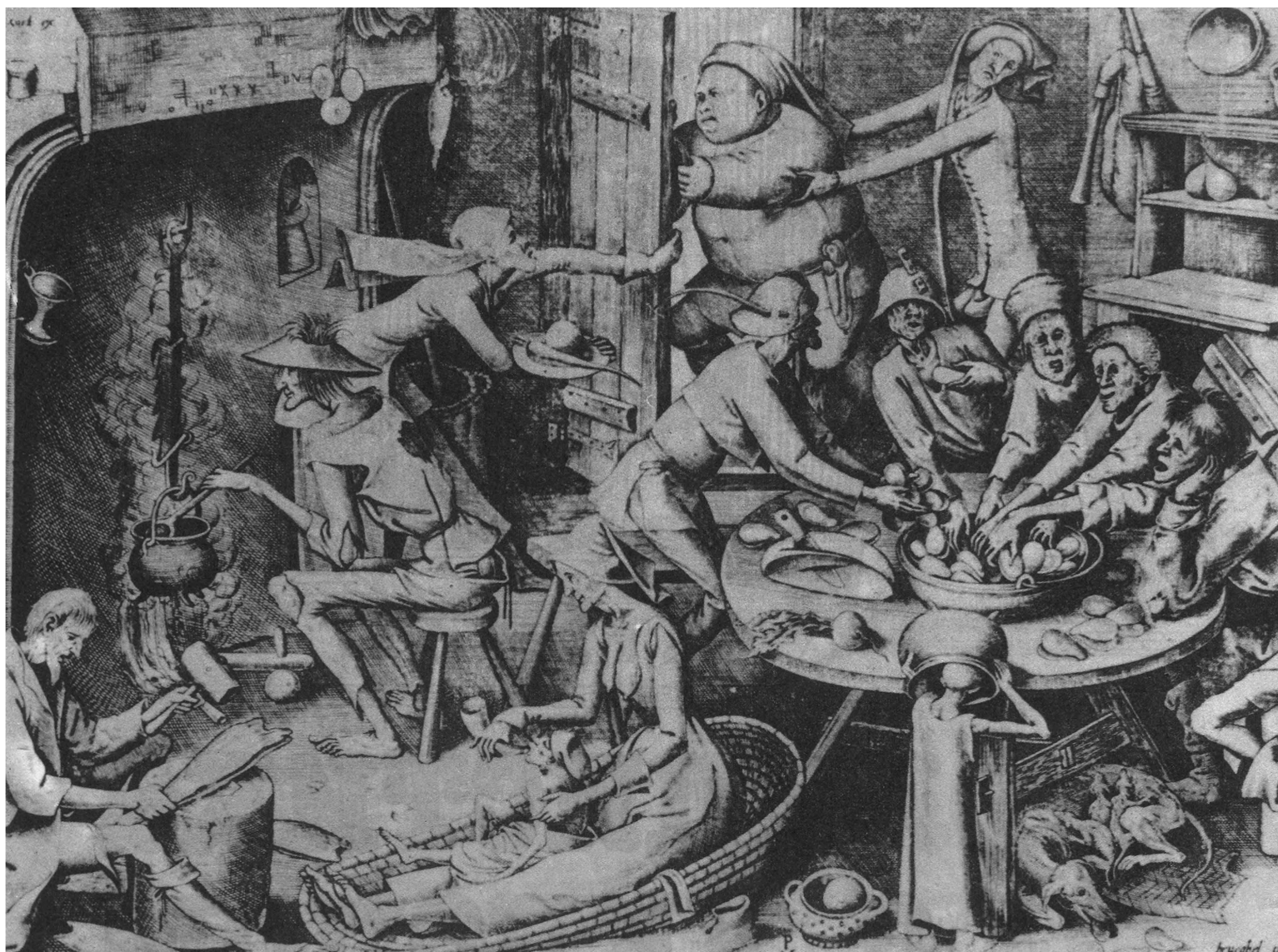
и высмеивать, и разве глубокой ночью, по зашатанному какому каналу сподобишься увидеть... Эх...

Насчет же моего чуда все просто, и слово было употреблено для красного словца. Психологически же ясно, что чем дольше в четырех стенах один, тем более, с другой стороны, беззащитен перед миром и открыт ему. Выходит, в известном смысле, чем больше заключен, тем больше свободен. Так что если желаешь представиться миру, то нет ничего лучше как засесть в комнатушке-клетушке, как вот моя. Самая лучшая сцена для представления, может быть, и есть... разве что тюремная камера перешибет? Впрочем, может быть, и не перешибет! В некотором смысле и в некоторой ситуации не только не перешибет, но и не дотянет. Хотите, докажу?

Глядите вот. Если сидишь в тюрьме, то знаешь, что отрезан от внешнего, нормального мира, и осознаешь свою ситуацию

Из книги "Театр одного актера" (публикуется впервые).

письмо из-за границы



Питер Брейгель. Кухня бедных. 1563

бесстрашно реалистически. Но при этом, сам не зная того, сознаешь вообще человеческую ситуацию реалистически, потому что и в нормальной-то жизни люди отрезаны друг от друга! Но в тюрьме есть твердая уверенность на существование где-то за решеткой нормального мира (будто нормальный мир где-то может существовать) — тем более невежественная уверенность, чем дольше отрезан. Именно потому, что надежды на и н о й мир у заключенных куда конкретней и оптимистичней, чем у людей обычной жизни, им легче стать реалистами, понимаете? Но Боже упаси выпустить их на свободу! Хуже нет, если попадут в самый что ни на есть иной мир, такой иной, что дальше некуда, ну вот... вроде этой комнаты, к примеру... да! И вдруг — шалишь, дело-то потрудней оказывается, не каждому по плечу! Ведь тут тоже камера и чужая жизнь через телевизор и газеты, но только: где иной мир для этого мира? Вот в этом-то и штука — здесь все, конец. И оказывается, что бывшим тюремным трудней всего признать провал и разочарование, то есть то, что нет и н о г о мира, только разве где-нибудь на небе. Но хотя о небе сразу у них полным-полно разговоров, что-то не небесный возникает тон, а скорей сварливо-старческий. Там были обостренными реалистами, здесь становятся обостренными фантазерами с мрачным уклоном в паранюю... бедные. Впрочем, может быть, не бедные, а по-тюремному ловкие? Потому что знают, что, когда тебя бьют, надо свернуться, спрятав голову, — ну да, по возможности втянуть, как черепаха, дабы спастись, фиг с ним, с реализмом, своя жизнь, свои иллюзии дороже!

Письмо из-за границы

Помните средневековую гравюру в школьном учебнике истории? Человек на карачках добрался до конца земли, заглянул головой под подол небу, увидел иные миры. Ну и какая польза от такой позы — задницу в тепле и сохранности оставил, а голову, наоборот, выставил неизвестно куда? И разве кто-нибудь из бывших тюремных согласится с таким изображением самого себя? Разве кто-нибудь из них и щ е т ? Да и вообще: разве у нас кто-нибудь умеет искать? За поиск уже была заплачена цена! Мы же не ищем, а находим, как формулировал Пикассо. И, думаете, что: истину? правду? Как бы не так! Эти-то давно и сразу найдены.

Ведь вот как вышло: как только соскочила иголочка с заезженной марксистской борозды, тут же и перескочила без всяких зазрений и колебаний на религии всякие, метафизики там и прочие национализмы, и, главное, опять с той же непримиримой восторженностью и опять на такие же готовенькие! Вот ведь что любо! Вот ведь что особенную надежду на будущее России подает! Разбросали одну мозаику и тут же из тех же деталей другую выкладывают! Эх...

Но что касается поиска, то ищем, ищем, как же, только вот что (верней, кого): в и н о в н ы х ! И то сказать, разве не заставили нас найти себя в окружении таки-и-их руин, запустения, опустошения, смерти человеческого духа и страданий человеческой плоти, что... думаете, подобные вещи легко прощаются и забываются? Как бы не так. И тем не менее: виновных найти! Конкретных, как муляжи в музее мадам Тюссо!

Что-о? Кто-то смеет заявлять, что мы таким образом сводим счеты с судьбой?! Что на самом-то деле еще большими ее рабами заделываемся, совершенно как те же самые евреи, с которыми в основном и счеты? Что ж, и то сказать. Мы как будто рождены на категоричность и серьезность, у-у-у, не подступись. Ну а с тем любопытствующим и потому несерьезным дураком, что на гравюре, через минуту что будет, разве можно сказать? Может, с ума свихнется от такого испытания, может, вообще вниз выбросится... И вы хотите его в наши представить?

Я иронизирую, прекрасно. Но и то сказать, как не иронизировать, если наш опыт воочию ставит Платонов миф о пещере с задницы... то есть с головы на ноги? Да-с, уважаемые господа, а также товарищи! Наш опыт показывает, что все работает наоборот, то есть: чем дальше от света потусторонних миров, тем больше реализма, знания жизни... Парадокс, думаете? Несерьезно, полагаете, замахиваться на Платона, религии, метафизику и примкнувшие к ним национализмы? А вот вам обещаю наперед выворачивание вещей наизнанку, этим и подвигнут! Почему? Да потому, что продукт своего времени, или, как у нас принято говорить, своей эпохи. А если на еще с вами время не было "оборотным временем", то каким же еще? Слышите, спрашиваю вас, каким еще? Простите, человеку надо же чем-то жить, за что-то зацепиться... За какой-то так называемый иной мир.

Вот и выдал себя сразу, и как ловко вышло, а? Думал повывендриваться за чужой счет, а тут же по себе... Но хоть не отрицаю, что карикатурен, поскольку, повторяю, полностью признаю, что продукт карикатурного времени. Признать же это необходимо, если всерьез думать о будущем, иначе опять все пропало.

Да, опять все пропало. То есть, может, оно и так пропало, но этого нам знать не дано, а по тому одному не пропало... Погодите, что же я, ну и цирк, опять ведь попался! Всерьез о будущем заговорил: ишь какой идеолог! Мало съел, да не наелся, верно, всеми этими идеологиями, марксизмами, нацизмами, сионизмами и прочими примкнувшими к ним славянофильствами? Всей этой дребеденью, указывающей как раз на то, как слаб свободой современный человек, как им на самом деле владеют страх и безверие, и именно потому бьет себя в грудь, вопя на каждом углу о своих вере и бесстрашии. Разложился душой, разъедена она язвами похлестке сифилитических, вот он и орет о душевной гармонии!

Таково торжество бездарности и срединности, таково наказание века. Бездарность и срединность всегда начинают с великого будущего и тут же обязательно и сразу соскакивают на славное прошлое. Старая история... Впрочем, и наоборот тоже верно: главное ведь избежать настоящего, на оселке которого только и проверяется истинность.

Но вот тот, на гравюре-то, по крайней мере весь в настоящем моменте пребывает, слишком ошеломленный и ушибленный им, чтобы суемудрствовать. Вот чем он мне дорог, даже если полудиот. Вот чем и вам всем должен бы быть дорог, слышите? Вот в чем главная драгоценность: в умении подглядывать в щелку в поиске того, что мы называем истиной, правдой, реальностью или как иначе. В еще одну щелку, на еще одну сторону, мучительно пытаюсь в воображении дорисовать целое, которое никогда ведь не нарисует даже отдаленно верно... Как в пипшоу, заплатив за вход, на обнаженных баб — о, что за бдение, что за таинство эти подглядывания: вот маю, молю ее подойти поближе, поближе, она подходит, подтанцовывая, крутя своей выбритой щелкой перед глазами, черная красotka, требуя долларов, долларов, я даю ей, а между тем пальцем туда, туда, как завороченный, а для чего? Добраться бы до конца наконец, до конца, понимаете? Узнать наконец, ощутить... Притянут похотью, может быть, но еще притянут тайной похоти, странной и бессмысленной, как вечный двигатель, как топтание на месте, как сама природа... Ведь это как в телескоп на звезды смотреть, или в микроскоп на микробы... дабы коснуться иных миров или, наоборот, мировой изначальности... И вдруг — пальцем в гуттаперчу, в муляж холодный и твердый — что за черт, как им, профессионалкам этим, удается подделывать, закамуфлировать, зашпаклевать, запудрить, караул, обман! А с другой стороны, поделом мне: за рупчик, то есть за доллар, по дешевке захотел получить сокровенность и откровение. да?

Но вот насчет оборотности вещей. Еще когда в первый раз, помню, читал Екклесиаста, сразу не понравилось: тот же сытый голос благополучной равнинской старости, поучающей

здравому смыслу, у-у, ненавижу. Так и вижу эдакого добренького якобы, мудрого якобы раввина, сидит себе, вещает, поглаживая бороду... А вот ножичком бы тебя, падла притворяющаяся, пошлая! По-родственному, интимно... гм, ведь по близкому-то всегда сладостней поплоснуть, потому что расправа с собственной плотью захватывает дух как ничто другое. И главное, потому так ненавижу до дрожи, до истерики, что знаю: не притворяется! А вот носом бы тебя в потешность и гротеск жизни... в газовую камеру!

Погодите, что же я: ведь засовывали и в газовую камеру, и ножичком чикали, да разве помогло? Еврейчики — такой упрямый народ, дадут всем фору. И то сказать, другим просто с личной жизнью расставаться, им со своим Богом, видите ли... меньше иллюзий на иной мир, потому что вообще не знают разницы между иным и этим миром, мудачье догматическое.

Но погодите, насчет Екклесиаста. "Всему свое время", видите ли! Как же, держи карман шире! Прекрасно устроились. И то же самое у Пушкина, кстати: "Блажен, кто смолоду был молод..." Какая тоска, как это все далеко! Как говорят в Одессе, "по ту сторону барьера". По Екклесиасту полагается, например, чтобы утро утро, а вечеру вечер, то есть, скажем, рабоче день, а отдыху ночь, но разве не вырос в то время, когда все самые важные дела творились по ночам? Что же был для нас день кроме наваждения профформы, имитации жизни, имитации работы, имитации чувств и мыслей? Имитацией, которые теперь разлетаются на глазах как дым, как дурной сон, и ничего от них не остается, ничего, даже до неприятного осадка, до пустоты в душе! Семьдесят лет помножить на триста шестьдесят пять — выйдет двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят дней, не считая високосных... Но ночи — о, тут другое дело. По ночам светились окна учреждений, а над ними сияло-светилось то, главное окошко в Кремле. По ночам обострялся страх, и посещали незваные гости. По ночам открывались истины и совершались прозрения, пусть даже задним числом, постфактум, когда уже некуда деваться... Так и должно было быть, именно и не случайно задним числом, потому что по принципу наоборот! И вообще, разве люди не рождались мертвыми, глухими, слепыми, немыми и так существовали, по инерции, имитируя людей по сути дела? И только в зрелом возрасте приходило пробуждение, и то если повезет, как кому... А других вообще сперва расстреливали, а потом уже кропили живой водичкой реабилитации, как и описывается в русских народных сказках, — не случайно, может быть?

Но народные сказки — это с одной стороны, а с другой — то самое на оборот, с которого начиналась наша цивилизация: распятие и смерть, а уж потом воскресение и жизнь. Те самые провокация, напряжение, максималистский вызов, с которыми явился людям извечный братец мой по крови и плоти Йошка, Иисус в формальном обиходе, который, между прочим, и научил меня а-агромнейшей, хе-хе, любви к собственной плоти... но это так, в скобках. Вот с какой точки зрения опыт нашего с вами времени должен быть увиден и понят, и тогда, может быть, даже возгордились бы его грандиозностью, мукой испытания и прочей мурой, которая, согласен, чем мучительней, тем бессмысленней, и, наоборот, чем бессмысленней, тем мучительней, а в то же время в бессмысленности несет смысл... что само по себе есть дополнительное испытание. Но, увы, разве человек способен на истинно разумное действие, когда чувства его на взводе, когда напряжен до звона в ушах, когда глаза его сощурены до щелок? О чем это я хотел — ах да, возвращаясь к пушкинскому "Блажен, кто смолоду...": действительно, какое отношение это имело к нашей с вами, уважаемые соотечественники, молодости? Не звучало ли просто издевательски? Если еще взять сынков и дочек высокопоставленных родителей или подпольных дельяг, они, вероятно, могли хоть в какой-то степени наслаждаться юностью, тешить ее порывы и желания... или еще ребяташки с уклоном в уголовщину... но остальные? Истинная юность ведь воплощается через головокружающую конкретность действий: полнота и разноцветность жизни ей нужна, риск, приключения, дерзновение. Полихачить на мотоцикле, занять женщину, разбить автомобиль, схватить триппер, взбунтоваться против общего статус-кво, заболеть новыми идеалами, заняться перекройкой жизни... Насколько же далеко это было от нас, включая и высокопоставленных и т.п. детишек! Принято полагать, что нас отучили думать, — о нет, прежде и главной всего — действовать. Какая глупость — по русской проторенной дорожке полагать, что мыслить важнее, чем действовать! Высшие силы были гораздо дальновидней и оставляли нам проторенную до-

рожку к рефлексии. С детства вот читал Толстого, совершенно проникаясь и будучи уверен, что "свое". Никто не помогал, но никто и не мешал. Без всякого влияния семьи, которая имела о литературе смутное представление, безо всякого влияния властей, которые останавливались на жалкой сухомятке предисловия. Был пронзен мыслью подставления второй щеки на много-много лет вперед, так что господствующая идеология как будто теряла меня там же и сразу?.. Ан нет, не теряла!

Ну и что, если пятнадцатилетним, доведенный до истерики плоской классовой жвачкой, возненавидев горьковскую "Мать", с торжеством придумал график, на котором человеческие качества изображались в виде шахматной доски? Горизонтальные бледные полосы означали классовые между людьми различия, а вертикальные подспудные, глубокого тона — "мелкобуржуазные" зависть, жадность, трусость, эгоизм, глупость, злость, ненависть, похоть, жажду насилия. Было совершенно ясно, какие качества подчиняют себе какие, каким образом обрабатывают их, переименовывают... Ну и что, повторяю? Ведь это такая малость и общеизвестность была, если брать с точки зрения иных времен и обществ! Я же за нее должен был заплатить максимально: сутулостью спины, общей хилостью, бледностью лица, тревогой сердца, каиновой печатью на лбу. Ближайший друг, с которым делились всем без утайки, вдруг отстранялся и говорил, покачивая хмуро головой: "Ну, это уж ты слишком", — и словцо "слишком", как интимный шепоток личного раздумья, намекало на более громкое и решительное: не наш человек. И моя мама, родная, собственная, не горьковская мать, услышав нас, повторяла те же слова, ожидывая меня укоризненным осуждающим взглядом... Голосом народа был ее взгляд, потому что ничего же не понимала по существу, но схватывала интуитивно: слишком не наше, нельзя так, нельзя быть таким!

Нет, говорю вам, куда бы лучше не Толстого получить в юности, а автомобиль. Со всеми вытекающими, перечисленными ранее, последствиями рискованной полноты жизни.

Мы были уверены, что наша жизнь лишена вневременных абстрактностей, между тем как она была лишена сиюминутных конкретностей. Мы думали, что живем в аду, между тем как жили в раю: из ада несутся вопли одиночек, в раю же царит коллективная убудочность. Так высшая власть дурила нас надолго вперед, на те времена, когда ее уже и не будет над нами.

Автомобиль научил бы меня куда больше самостоятельно-сти мышления и действия, чем Толстой и вся остальная русская и мировая литература прошлого времени, а Толстой из могилы обязательно одобрил бы. Но я был настолько немощен, что даже и не мечтал об автомобиле, как многие мои сверстники. Однажды только мелькнула мысль, точнее, фантазия, которую запомнил странным образом.

Стоял в центре города Одессы, на углу Дерибасовской и Преображенской, около остановки 12-го трамвая. У входа в Пассаж была припаркована черненькая "эмка", как сейчас вижу, уютненько так скособочилась в уклон мостовой. И вдруг разверзлись небеса, распахнулись чувства, пронзило головокружительное: а что, если бы была моя? По цельности детской фантазии мне явилась не просто машина, но картина некоего иного мира, в котором так захватывающе интересно жить... Опять же выходит вопреки Платону, у которого на небесах жизнь должна быть интересна как раз презрением к материальным ценностям.

Через год-другой познакомился с журналом "Америка" и на его лощеных страницах сразу увидел точное изображение моего идеального мира. И ничуть не удивился. Роскошная буколика: благочинные семьи, расположившиеся вокруг невероятных автомобилей, стриженные газоны на заднем плане, бассейны, в которых разноцветные плавательные круги... смеетесь, что ли?

Как же было не поверить в буквальность этой красоты, если заведомо (и для своей же пользы) был отлучен от понятия буквальности? Черта с два я разглядывал бы с таким идеализмом глянцево-иностранно-журнальные, если бы разъезжал с девицами в авто. Черта с два мое сердце захолаживалось бы восторгом каждый раз, когда ловил сквозь глушилку несколько связанных слов, произнесенных диктором радиостанции "Голос Америки", если бы ее не глушили. (Но небуквальность нашей жизни была такова, что уже нельзя было не заглушать!) Мы думали, что советский строй тратит огромные средства на глушилки потому, что боится за свое существование: черта с два! Все делалось, чтобы сохранить романтический строй на-



Питер Брейгель. 1565



ших душ, а мы этого не ценили. Высшие силы заботились, чтобы, как и положено обитателям рая, мы оставались вечно юными душой и готовыми к восторгу, а то, что "Наш паровоз, вперед лети" рано или поздно сменится критической песней Высоцкого, было второстепенно. Важно, чтобы и критика проходила на уровне восторга и с той же уверенностью в черноте мира. Важно, чтобы если мы и доходили до чего-то своим умом, то хоть чуть-чуть, а все-таки задним числом. Может быть, поэтому, как только прозревали, ужасно как преисполнялись сознанием собственной значимости и начинали кричать, желая немедленно быть услышанными всем миром, желая поразить и научить. И тут же раздражались, исполнялись гнева и презрения в адрес того самого мира, внимание которого так хотели заслужить, поскольку он как-то не слишком вслушивался.

Но напрасно мы сердились, это еще были цветочки, когда он не вслушивался. Тогда еще можно было гордо оставаться при своих ярости и сарказме, тогда еще наше духовное превосходство ничуть не подвергалось проверке. Но вот нас начинали слушать, и оскорбленно мы замечали, что — как взрослые детей. Это мы-то дети?! Ничего себе! Мы, а не они, зажавшиеся и разбаловавшиеся в своем эгоистичном, близоруком и бездуховном обществе? О да, нас начинали слушать — после стольких-то лет! — и мы могли бы успокоиться, если бы не ощущение, что все равно нами интересовались так, как когда-то капитан Кук интересовался туземцами. Капитану Куку интересны были всякие дикарские обычаи, привычки, обряды: как они женятся или хоронят, как убивают и поедают врагов, как высушивают головы на колах... И про нас что-то в таком духе выходило, насчет лагерей, расстрелов, массового террора, культа личности и так далее. Иными словами, нас принимали конкретно и натуралистично, а мы хотели, чтобы — символически и метафизически.

То есть, конечно, нельзя отрицать, мы поражали воображение и даже оказывали влияние, да, да, мы заставляли шевелиться кой-какие весьма почтенные даже умы и отвоевывали у ненавистной левизны кой-кого порой очень важного... Но разве этого было достаточно? Разве мы не должны были победить немедленно и полностью, то есть так, когда победитель гордо возвышается над побежденным, а побежденный покорно подползает, желая целовать руку победителя? Черт побери, целовали же они еще недавно руки нашим бандитам и ублюдкам, именуемым вождями и руководителями! А мы чем хуже? Те пророчествовали миру, вырядившись в тоги гуманистов и вершителей справедливости, мы пророчествуем, явившись косяковой тенью заключенного концлагеря. А, нас не любят, как не любят гонцов, принесящих плохие вести! Вот горькая, но утешительная мысль. Увы, если бы можно было ею утешиться!

Но коль скоро мы тени, тогда я вам скажу, что тень не способна к рефлексии и меланхолии, полнокровию и спокойствию, улыбке и благодушию. Я — тень? Ладно же! Да будет вам известно, тень грозна и нервна, тень всегда на краю "пан или пропал". Тень неизбежно и всегда мучима роковой мыслью: после такой цены такой результат?! — и оплату путает с расплатой. Тень тоже хочет облачиться в одежды, ей они во много раз нужней, чем пресловутому королю, который гулял голым: король хотя бы был при своем белом, хорошо упитанном теле...

Вот как оно выходит, что мы облачаемся в одежды, извлеченные из сундуков прошлого. Приходил момент, и, как Спящая красавица, разбуженная поцелуем Принца, мы лихорадочно спешили предстать перед ним и живым миром во всей красе... былой красе? Ах, не расстраивайте меня, бормочу я сам себе кокетливой тенью и ударяю себя же кокетливо веером по руке (истлевший веер тут же рассыпается трухой): фуй, противный, как вы смеете произносить слово "былой" в конкретности и натуралистичности? что за глупость и низость, тогда как следует только и исключительно — символически и метафизически? не буду с вами котильон танцевать!

Так говорю я, пытаюсь заручиться доверием окружающих, и тут же продолжаю жеманным голосом, явно не в силах удержаться. Ах, кто посмел упомянуть время, имея в виду его текущность? Ах, противные, ни с кем не буду танцевать котильон, опять та же бескрылость бездуховного мировоззрения, фуй, как скучно с вами! Ах, какие вы, право, все советские!

Тут при слове "советские" такие глубинные пласты поднимаются в моем сознании, что не только раздвоиться — расщепиться готов! Грудь мою вздымает и распирает, как говорит-ся, но это еще и потому, что, как говорится, у меня в зобу ды-

ханье сперло. Я должен найти и произнести какие-то адекватные слова, которые еще только рождаются, проворачиваются где-то именно между грудью и зобом, наливаются ядом неописуемого презрения, но не могут оформиться и прорваться. Или, опять же как говорится, "У меня нет слов, чтобы выразить". Еще бы, я должен адекватно выразить свои чувства к тому, что называется советским человеком, но одновременно указать, насколько я "не такой", при этом тонко поиронизировав, что от судьбы не убежишь, что, увы, в этом смысле все мы советские, чтобы дать понять, насколько же достиг высот интеллектуального самосознания и самоотстранения, которые сами по себе являются гарантией "несоветскости", ну и так далее и так далее...

Впрочем, это все между прочим и между строчек.

В строчках же я продолжаю говорить о пробудившейся старушке, искренне сострадаю ей, потому что задним числом вижу, насколько и этот первый момент после пробуждения только цветочки и какие еще ягодки ожидают ее. Ведь тут что происходит: ну проснулась, ну тревожно ощутила, что Принц и инопришельцы как-то не так на нее смотрят, ну екнуло сердце... А все равно, королевство-то пребывает еще во сне! И, значит, можно еще лелеять надежду, что, мол, когда все проснется, тогда и покажут миру, на что способны! Тогда мир увидит, кто был хранителем высоких и глубоких истин, давно им забытых в атеистической погоне за материальными благами, эротическими наслаждениями и прочими сиюминутностями, которыми так занято его ожиревшее, направленное только на бесчестные компромиссы сознание. И вот когда склонится он в изумленном признании!

Увы, одряхлевшая красавица не подозревает, что именно когда проснутся, тогда самое неприятное только и начнется!.. А впрочем, почему бы ей не знать? Или хотя бы не предполагать что-либо подобное? Ведь когда была юна, проявляла же необыкновенно острое чувство реальности, преувеличенно острое даже! Из-за чего, быть может, и пошло все, как пошло, в том смысле, что не выдержала реальности, укололась и уснула... Ну, как бы то ни было, теперь, в новом, так сказать, времени, все ударяется в совсем иную реальность. Все выворачивается уже таким униженным гротеском, предусмотреть который мог бы только законченный негодяй, право! Теперь старуха и сама все видит, но что ей делать? Чем больше она пытается спасти положение, строя глаза Принцу, принимая ряд то величественных, то кокетливых поз, чем выше поднимает голос в назидательном чтении по истлевшим рукописям, тем потешней у нее выходит. Но, думаете, перед инопришельцами ее неудача? Самое обидное, что нет! Уже Принц со святой сочувственностью на нее глядит, уже ее подмигивания производят явный эффект, только вот свои же совершенно ее и себя дискредитируют! Просто начисто все благородные усилия сводят к нулю! Ведь что выходит: проснулись, увидели себя в нелепых позах, в которых застал их сон, и ну потешаться друг над другом, ну сдирать истлевшие лохмотья, ну валиться в ноги иноземцам! Нет чтобы подправиться, подтянуться, сделать вид, будто ничего особенного, дело житейское, Помпея там под лавой и прочие подобные натуральные явления, то есть нет чтобы постараться не ударить лицом в грязь... нет чтобы продолжать тянуть понт!

Да, да, слышите, что я произношу? Это я-то, кто с детства был заряжен ненавистью к нашему Великому Понту и этой единственной страстью, может быть, только и жил, и вот теперь с ностальгической тоской молю: хоть бы чуть-чуть понта сохранили, не так унижительно все было бы... Хоть бы самую бы малость... чтобы не так, по-русски, с преувеличенной поспешностью тыча пальцами в лохмотья и гогоча, ползти на коленках, выпрашивая одежду с чужого плеча...

Ах нет, невозможно, что за колдовство: опять мы на коленках перед ними? Но что это я, испугался, да? Кишка тонка? На коленках так на коленках, все лучше, чем лживые и бездарные рулады выводить примиренческими дьяконовскими голосами в обход фактов...

И если пришло время иронической безголосоности фистулой, то, так и быть, и я с ней! Знаете, еврейчики ведь такой народ, так уж спешат "в ногу со временем", что всегда чуть вперед забегают, даже русским фору дают, путаясь под ногами и оборачиваясь назад в глупой во все лицо улыбке, ищущей одобрения: ну, как я?

Здравствуйте, уважаемые издатели!

Обращаюсь к вам с необычной просьбой. Дело в том, что я подписался только на четыре номера журнала "Странник", выходящих в 1991 г., но не сделал подписку на 1992 г. Не скрою, сомневался, стоит ли выписывать журнал, о котором ничего не известно. Получив первые два выпуска "Странника", понял, что допустил ошибку: содержание полученных выпусков очень понравилось, а оформить подписку на 1992 г. уже опоздал. Поэтому и обращаюсь к вам с просьбой: не можете ли вы высылать мне наложенным платежом все выпуски 1992 года? Обязуюсь своевременно их выкупать с оплатой пересылки.

С уважением

А.А. МАНЬКО.

г. Рудный Кустанайской области.

Уважаемые друзья!

Я уже слышала о журнале "Странник", а прочитав в "Огоньке" о вас, спешу заказать, если возможно, все четыре номера за 1991 г. Высылайте их наложенным платежом, а на 1992 г. я уж подпишусь на ваш журнал. Очень люблю нашу русскую литературу, а судя по направлению вашего журнала (литературно-философский) он мне поможет и понять нашу литературу, а не только любить. Как хорошо написано в рекламе: "Продолжает традиции Пушкина и Достоевского"...

О.Г. ЛЕЖНЕВА.

г. Березники Пермской области.

Здравствуйте, господа!

Получил от вас ценную бандероль, содержащую два выпуска журнала "Странник" за 1991 год, хотя заказывал все четыре выпуска.

Будут ли мне досланы два недостающих выпуска (№ 3, 4) и будет ли покрыта стоимость этих номеров суммой 15 рублей 75 копеек, уплаченной мной при получении № 1, 2?

Согласитесь, что отсутствие цены на "Страннике" № 2 порождает всевозможные сомнения на предмет его реальной стоимости. С уважением

Ю.Л. ПОПОВ.

г. Лиски Воронежской области.

Р.С. Журнал обещает быть интересным, но не увлекайтесь чисто политическими проблемами. Давайте больше прозы, поэзии русского зарубежья, а также не забывайте об авангарде в живописи, прозе и т.д.

Уважаемые друзья!

На днях получил первый и второй выпуски вашего журнала. Прочел, как говорится, на одном вздохе. Спасибо.

Прошу выслать третий и четвертый выпуски 1991 года, а на 1992-й я буду подписываться в установленном порядке.

Заранее благодарен.

С уважением и наилучшими пожеланиями

К.К. ОГНЕВ.

г. Феодосия.

Уважаемые господа!

Я понимаю, что я опоздал с подпиской, но тем не менее умоляю изыскать возможность включить меня в состав ваших читателей на 1992 год.

Ваш журнал — это как раз то, что мне нужно, и я не хотел бы с ним расстаться в будущем году.

Прилагаю квитанцию о переводе аванса в сумме 25 рублей.

Заранее вас благодарю.

В.А. СОРОКОВИК.

д. Вишневец Минской области.

Господин товарищ "учредитель и главный редактор"! Хочу обратить Ваше внимание на один странный факт. Два номера Вашего журнала в розницу стоят 11 руб., а по почте рассылаются за 16. Не кажется ли Вам, что нормальная логика требует как раз обратного? Или это такой "совково"-буржуазный способ наживать деньги? Но он, кажется, не очень к лицу Вашему изданию, пытающемуся быть интеллигентским и интеллигентным. Во всяком случае, если собираетесь продолжать в том же духе, не трудитесь присылать мне остальные номера.

Желаю здравствовать.

Е.А. ЯБЛОКОВ.

г. Москва.

Уважаемые товарищи!

Получил 1-й и 2-й номера журнала "Странник". Отличный журнал. Получил огромное наслаждение. Надеюсь получить 3-й и 4-й номера за этот год. И у меня есть вопрос о подписке на 1992 год. Высылать аванс или нет? В объявлении был указан срок 1 декабря...

Е.В. ОТМАХОВ.

г. Одесса.

Уважаемые товарищи!

Недавно узнал о существовании вашего журнала "Странник" и имел возможность посмотреть его первые номера. Журнал мне очень по-

нравился и заинтересовал. Но с большим огорчением узнал, что срок объявленной вами подписки истек. Не знаю, найдется ли у вас возможность, но у меня к вам большая просьба: если еще можно — прошу считать меня вашим подписчиком. Предварительный аванс я перечислил на ваш расчетный счет, квитанцию прилагаю. С уважением

А.П. НЕСТЕРОВ.

г. Балашиха Московской области.

Прошу вас принять заказ и выслать журнал "Странник" № 1 — 4 за 1991 год. Так как первое

декабря завтра, подписку уже оформить невозможно. Какбыть?

С уважением

А.Г. БУЛГАКОВ.

г. Уштобе Талды-Курганской области.

Доброе утро.

Если вы еще есть.

Вышлите второй и третий номера вашего журнала. Без таких читателей ваше дело не имеет смысла, ведь правда?

Спаси вас Бог.

Дмитрий ПОТАПЕНКО.

г. Фергана.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ "СТРАННИКА"!

По не зависящим от нас причинам в 1991 году вышли только два номера журнала. Всем, кто заказал третий и четвертый номера за 1991 год, будут высланы соответственно первый и второй номера за 1992 год. Если вы захотите получать журнал и дальше, вам достаточно лишь написать об этом в редакцию — все последующие номера также будут высылаться наложенным платежом.

Цена второго номера журнала за 1991 год — 7 рублей. Стоимость получаемой вами на почте бандероли больше цены вложенных в нее журналов, так как включает еще и цену почтовых услуг.

К сожалению, в условиях роста цен и нестабильного рынка мы не можем заранее, когда журнал засылается в набор, назначать его цену. С этого номера на журнале указывается: "Цена договорная". Подписчикам журнал рассылается по

наименьшей для данного номера цене, без каких-либо наценок, возможных в розничной продаже.

Подписчики, несколько опоздавшие с перечислением аванса и отправкой в редакцию квитанции, могут не волноваться — они занесены в наш реестр и будут получать журнал своевременно.

При получении первых номеров "Странника" за 1992 год, цена которых покрывается суммой присланного аванса, все подписчики будут платить лишь за пересылку. Для тех же, кто почему-либо не выслал аванс, но изъявил желание получить журнал в 1992 году, условия остаются прежними: вы каждый раз будете оплачивать присланный вам журнал и почтовые расходы.

Благодарим всех наших читателей и подписчиков, приславших в редакцию заявки и письма, и надеемся, что вы не обманетесь в своих ожиданиях.

РЕДАКЦИЯ.

Присылайте заявки на "Странник"!

Вы можете получать его начиная с любого номера, а также выкупить наложенным платежом предыдущие номера по старой цене.

Редакция приглашает к сотрудничеству торгующие организации, альтернативные службы распространения и частных распространителей.

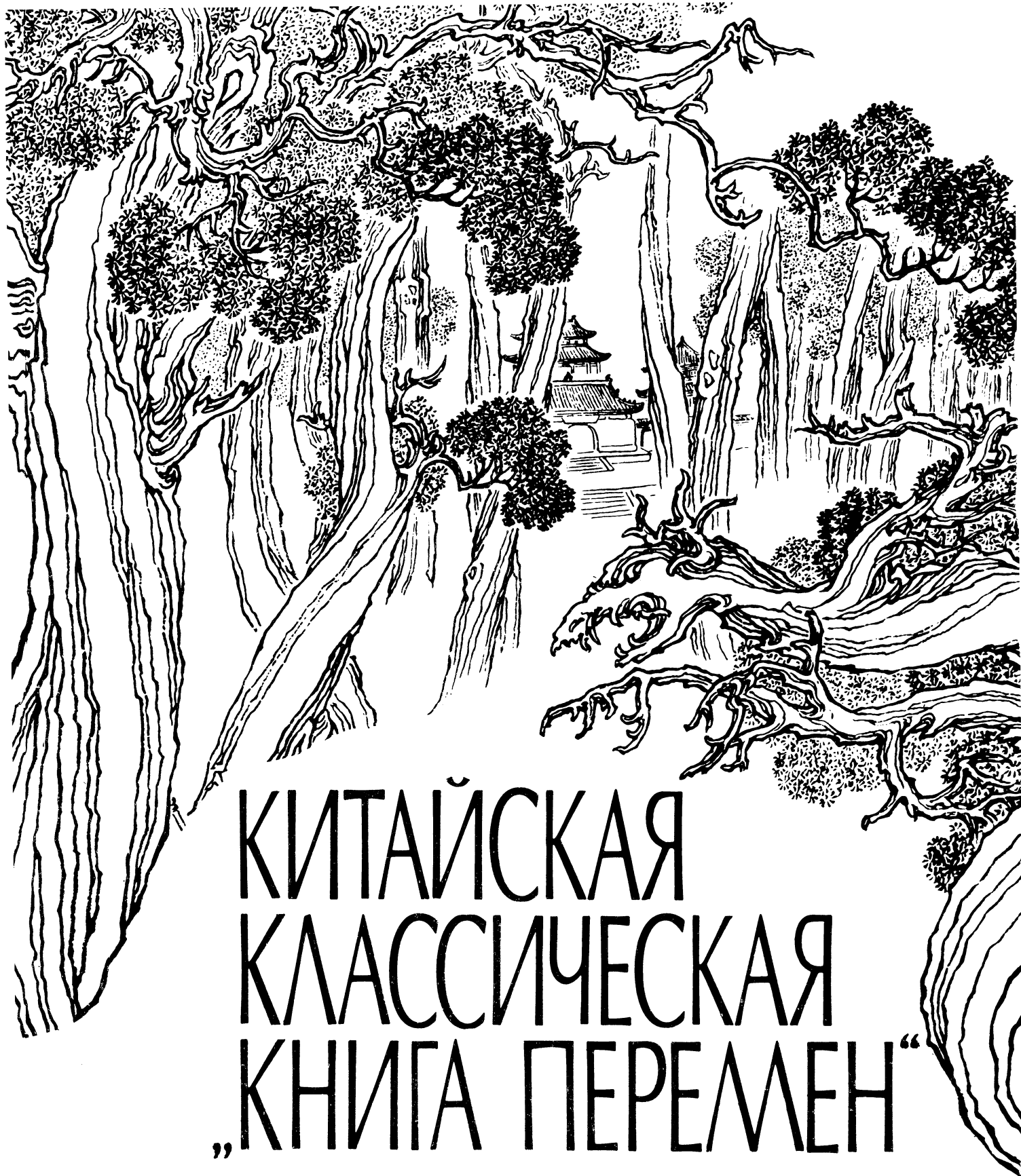
Контактный телефон 241-45-52.

С заявками и вопросами по поводу распространения журнала просим обращаться по адресу:

121019, Москва, а/я 60.

Будьте внимательны! Адрес редакции может измениться.

Желательно каждый раз уточнять его по последнему вышедшему номеру "Странника".



КИТАЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ „КНИГА ПЕРЕМЕН“

Другая культура — это другая планета. У нее другие мифы, и "мифологичность", "донаучность" колот нам глаза. Наши собственные мифы давно вошли в язык, спрятались в оборотах речи, в стереотипах: "правое дело", "темные за-

мысли"... Почему, однако, хорошее, справедливое считается правым, а не левым? Потому что так располагались предметы вокруг образа шаманского дерева; а в конечном счете, по-видимому, это связано с распределением функций между



из книг "Странника"



правым и левым полушариями мозга. Почему темное плохо? Так — в мифологии Ближнего Востока, отдавшей день добру и зло ночи. Но у китайцев тьма не злая. Нам кажется естественным начинать со света. "Свет и тьма" хорошо звучит, "тьма и свет" кажется инверсией, искусственным порядком слов. А китайцы говорят "инь-ян", то есть, примерно говоря, "тьма-свет".

Эллины понимали бытие иначе, чем иудеи, но все Средиземноморье начинает строить картину мира с бытия и света, четко различающего предметы. Нам трудно понять культуру, начинающую иначе — с чего-то туманного, неопределенного: одно порождает два, два порождает три, три — множество вещей...

Одно — это Дао, путь, переход от таинственно целого к зримому множеству. Путь, который нельзя определить. Неименованное, непостижимое Дао объемлет именованное (доступное разуму). Лао-цзы восклицает: "О неясное! о туманное!" (Средиземноморский автор сказал бы: "О светлое, о блистающее!") Некоторое приближение к символике Дао — слова Джордано Бруно: "Бога можно почитать только молчаливым". Но как бы ни почитать Бога, это Бог личный, говорящий, давший откровение. Дао ничего не говорит. Дао молча раскрывается в природе. И, следя мыслью за тем, как оно раскрывается, мы переходим от одного к двум, инь-ян, мы видим текущие воды (или туман) — символ инь — и выступающие из тумана скалы (символ ян). Живопись гор и вод не пейзаж, а своего рода икона. Чтобы понять, как китайцы и японцы чувствуют туман, надо взглянуть в китайский свиток периода Сун, японский период Муромата. Туман там значит примерно то, что фаворский свет в "Преображении" Феофана Грека. Туманное, зыбкое, текучее инь ближе к "неименованному", туманному Дао, чем ясно очерченный твердый мир ян. Зыбкое, текучее порождает твердое, женщина рождает, творит из своего тела и духа мужчину со всей его твердостью.

Первичное значение инь и ян — вместилнице и детородный член. Но вокруг этих простых вещей собрались ассоциации и вышли символы: инь — женственное, порождающее, текучее, иррациональное, туманное, темное; ян — мужское, твердое, ясно очерченное, рациональное, светлое... Свет и тьма здесь не противостоят друг другу и не стремятся победить один другого. Они живут в браке. Символ целого — инь и ян как два головастика, светлый и темный, вписанные в круг. Китайский идеал — не торжество (света над мраком), а гармония инь и ян. Зло — не то или иное природное начало, а нарушение гармонии. Но эта гармония текуча, подвижна. За усилием инь следует усилие ян. Эпохи преобладания чередуются, как взмахи маятника. Западная мысль последних веков была прикована к накапливающимся, нарастающим изменениям (рост производительных сил, дифференциация культуры, рационализация отношений с природой). Но кризисы XX века повернули внимание к другим изменениям — циклическим и маятниковым. Такой маятниковый характер имеют сменя классически-рациональных и романтически-иррациональных стилей в искусстве Европы. Можно увидеть гегемонию ян в ренессансе, классицизме, позитивистском реализме и гегемонию инь — в барокко, романтизме, модернизме. Лю-

бовь к ясному дневному свету, к четким границам между предметами и уравновешенным композициям сменяется любовью к асимметрии, к смазанным, размытым очертаниям, к господству целого над отдельным. Такие сдвиги можно проследить и в Европе (где они иногда связаны с увлечением Востоком) и в Китае, в живописи "гор и вод" разных эпох.

Готовых категорий наподобие инь-ян в европейской культуре не было, и возникли новые. Габриэль Марсель и Эрих Фромм разработали "дихотомию" "иметь" и "быть". Эти глаголы описывают два универсальных отношения человека к жизни как целому, охватывающему и самого человека, и смысл его существования. "Иметь" рационально, делится на части (можно иметь много и мало); "быть" иррационально и неделимо (нельзя напополам, на три четверти быть; или вы живы, или нет; или вы породили новую жизнь, или нет; только в шутку можно быть "чутьочку беременной"). Замечательно, что евреи называли своего единого Бога сущим (в противоположность ваалам, "хозяевам отдельных гор и долин").

Однако в работах Марселя и Фромма нет ясно выраженной идеи гармонии "иметь" и "быть". Оба автора резко полемичны, они восстают против разрушения бытия в погоне за обладанием. Более уравновешена (и в этом смысле ближе к духу инь-ян) концепция Виктора Тернера. Мир "иметь" он назвал структурой, мир "быть" — "коммунистас" (общением в духе). Всякая недооценка того или другого мыслится как причина кризиса. Несмотря на все эти модели, перекликающиеся с инь-ян, китайские термины и сами по себе получили хождение на Западе. Как это ни покажется странным, преимущество их в донаучности, в ассоциативной, а не логически строгой конструкции и смысле. Логически строгие модели возможны только на известном отдалении от Целого, в лице отдельного. Целое строгому мышлению не отдается.

Инь и ян — символы всяких маятниковых и циклических перемен. В природе им соответствуют день и ночь, лето и зима, в человеческом микрокосме — чередование активности правого и левого полушарий мозга. Физиологи говорят, что правое полушарие воспринимает мир как целое, левое — дифференцирует его на предметы. Таким образом, гармония инь-ян — символ гармонии макрокосма и микрокосма.

В "Книге перемен" колебания двоицы инь-ян отделены от колеблющихся тел и явлений, представлены абстрактными сочетаниями целой и разорванной линии. Это не научная модель, допускающая количественный подсчет, это скорее образ для созерцания тайны Целого, или, лучше сказать, рамки, добровольно поставленные себе интуицией, чтобы выделить во множестве движений, накладывающихся друг на друга, конкретный случай перемен и мысленно проследить его развитие. В становящейся мировой культуре "Книга перемен" станет, вероятно, одним из признанных подходов к целостности бытия, наряду с мифологией и философией Элады и упанишадами Индии.

Григорий ПОМЕРАНЦ.

ЧЖОУСКАЯ "КНИГА ПЕРЕМЕН"*

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Интерпретация построена на основании критической школы комментаторов Ван Би, Вань И, Ито Тогай

Название данной классической книги Китая объясняется тем, что главная идея, лежащая в ее основе, — это идея изменчивости. В незапамятные времена, еще до возникновения письменности, эта идея была почерпнута людьми из наблюдения над сменой света и тьмы в мире, окружающем человека. На основе этой идеи была построена теория гадания о деятельности человека: идет ли эта деятельность вразрез с ходом мирового свершения, или она гармонически включается в мир, т.е. несет ли она несчастье или счастье, как это называется на языке технических терминов "Книги Перемен".

Существующая система Книги сложилась в основном при Чжоуской династии и, в отличие от мантических систем более ранних времен, она называется "Чжоуской Книгой Перемен". Она состоит из 64 символов, каждый из которых выражает ту или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения ее постепенного развития. Символы состоят из шести черт каждый; и эти черты обозначают последовательные ступени развития данной ситуации. Черты бывают двух родов: или цельные, или прерванные посередине; первые символизируют активное состояние, свет, напряжение, а вторые — пассивное состояние, тьму, податливость.

Эта система — плод многовекового накопленного опыта наблюдения мира, мира реального, красочного. Здесь вполне уместно вспомнить то, что Гете говорит о мире красок: краски — это действия и страдания света. Можно ощутить "Книгу Перемен" как эпопею взаимодействия света и тьмы. Тогда она приобретает и красочность, и выразительность.

№ 1. ЦЯНЬ. ТВОРЧЕСТВО

Здесь творчество рассматривается в его самом чистом виде. Это прежде всего — акциденция неба, как олицетворения творческой силы, которая лежит в начале всего существующего. Она, как универсальная сила, принципиально не может иметь никаких препятствий в своем развитии, которому благоприятствует то, что эта сила является совершенно стойкой.

*Печатается по изданию: Ю.К. Щуцкий. Китайская классическая "Книга Перемен". Издательство Восточной Литературы. М., 1960. Эта книга, выпущенная тиражом всего 1400 экземпляров, давно стала библиографической редкостью.

Статья Г. Померанца о "Книге Перемен" написана специально для "Странника".

Совершенный человек может в своей деятельности полностью проявить такое творчество, которое благотворно отражается на всем его окружении. Вот почему в тексте сказано: Творчество. В изначальном развитии благоприятствует стойкость.

1

Вообще активной деятельности отдается предпочтение перед простым, пассивным бытием. Поэтому нужна особая бдительность для того, чтобы эта деятельность привела к положительному результату. Момент ее начала является одним из самых ответственных моментов. В нем еще не уместна деятельность, а нужна лишь замкнутая и сосредоточенная подготовка. Человек может быть полон сил, но время еще не благоприятно для его деятельности. В образе *нырнувшего дракона*, то есть мощного существа, которое скрылось и еще не действует, изображается такой человек. Не следует думать, что это может относиться лишь к каким-нибудь особым людям, ибо совершенно не в духе Книги ограничивать предостережения, даваемые в ней, их пригодностью лишь для некоторых людей. Поэтому о первом моменте всякого творчества сказано:

*В начале сильная черта.
Нырнувший дракон, не действуй.*

2

Следующий момент, выраженный второй чертой, которая в символике называется полем, т.е. поверхностью земли, характеризуется тем, что человек, полный творческой силы, зашифрованный в образе *дракона*, может уже выйти из своего уединения: он, появившийся, уже находится в поле. Его творчество уже может проявиться, он видим всеми, и это положение для всех *благоприятствует встрече* с таким великим человеком.

Кроме того, в системе графических соотношений символов Книги принято считать, что между чертами символов существует некий резонанс, "соответствие", а именно: первая черта соответствует четвертой, вторая — пятой, третья — шестой. Но в символике социальной иерархии пятая черта обозначает государя. Поэтому на второй позиции, стоящей в соответствии с пятой, *благоприятна встреча с великим человеком*. Вот почему текст этой черты гласит:

*Сильная черта на втором месте.
Появившийся дракон находится на поле.
Благоприятна встреча
с великим человеком.*

3

Первая волна творческого акта на второй позиции уже достигла высшей точки. Но все это существует пока лишь внутренне, ибо первые три черты обозначают внутренний мир, а вторые три — внешний. Все это еще не реализовано вовне. Необходим выход из себя для этой реализации. Он символизируется третьей чертой. При таком переходе естественно возникает некий кризис, делающий это положение *опасным* даже для *благород-*

ного человека, который на протяжении всего первого периода творчества — "весь день" — отдавался непрерывному созиданию. Только полная сил бдительность в конце этого периода — "вечером" — может привести к тому, что хулы не будет. Так об этом сказано и в тексте:

*Сильная черта на третьем месте.
Благородный человек до конца дня
непрерывно созидает.*

*Вечером он бдителен.
Опасность.
Но хулы не будет.*

4

При выходе к активной деятельности вовне у человека, подготовившего ее внутренне, точно вырывается почва из-под ног, но именно эта предварительная подготовленность делает возможным благоприятный исход. Это с достаточной ясностью выражено в образе текста:

*Сильная черта на четвертом месте.
Точно прыжок в бездне.
Хулы не будет.*

5

Только на пятой позиции творческий процесс выступает в своей полной силе. Он до конца проявился вовне и, имея в себе достаточную мощь, не нуждается ни в какой поддержке. Он, как полный сил дракон, летит в небе. С такой высоты творящий легко может заметить великого человека, где бы тот ни находился. Но и сам он является великим человеком, настолько развернувшим свою деятельность, что его не трудно увидеть кому угодно. Вот как это выражено в тексте:

*Сильная черта на пятом месте.
Летящий дракон находится в небе.
Благоприятна встреча
с великим человеком.*

6

На этом, собственно, заканчивается творческий процесс. Все дальнейшее является лишь ненужным переразвитием. Раз творчество уже достигло своего полнейшего проявления и больше уже ничего создать нельзя, то тот, кто в этом положении все же захотел бы "творить" еще дальше, проявил бы лишь свою излишнюю гордость, в результате которой ему пришлось бы раскаяться. Так об этом говорит и данный текст:

*Наверху сильная черта.
Возгордившийся дракон.
Будет раскаяние.*

Резюме

Весь процесс творчества выражен сильными световыми чертами. Это, конечно, благотворные силы, но для подлинно благого результата необходимо вполне управлять ими и не допускать того, чтобы они главенствовали. Только тогда деятельность может идти в гармоническом отношении ко всему мировому свершению и быть счастливой. Поэтому в тексте, где силы света выражены в образе драконов, сказано:

*При действии сильных черт смотри,
чтобы все драконы не главенствовали.
Тогда будет счастье.*

№ 61. ЧЖУН-ФУ. ВНУТРЕННЯЯ ПРАВДА

В процессе раздробления возникли отдельные индивидуумы. Процесс этот подвергался ограничению. Таким образом, индивидуальное представляло известную стойкость. Но для дальнейшего своего бытия, собственно, для того чтобы возникнуть в подлинном смысле этого слова, индивидуальное должно быть внутренне самостоятельно, оно должно быть наполнено внутренней правдой. Поэтому данная ситуация, идущая на смену предыдущим, называется "Внутренняя правда". Независимо от того, насколько развит данный индивидуум, эта внутренняя правда должна присутствовать в нем. С точки зрения авторов "Книги Перемен", вепри и рыбы представляют собой существ, наиболее тупых и ограниченных в дурном смысле слова. Конечно, это лишь образ, обозначающий слаборазвитого человека. Но даже такой человек, несмотря на всю его ограниченность, если он обладает этой внутренней правдой, все же является человеком и может действовать в окружающей его жизни. При наличии такой внутренней правды он способен к серьезной и большой деятельности, в которой само собою он должен сохранить стойкость, то есть умение гармонизировать внешнее побуждение к действию и внутреннюю реакцию на это побуждение. Именно в гармонии восприятия и реакции должна протекать эта серьезная и большая деятельность, которая имеется здесь в виду. Эту мысль "Книга Перемен" облакает в следующие образы:

*Внутренняя правда.
Даже вепрям и рыбам счастье.
Благоприятен брод через великую реку.
Благоприятна стойкость.*

1

В самом начале данной ситуации, когда она еще не только не выявлена вовне, но и не найдена внутри, соразмерность и гармоничность, о которой только что было сказано, являются еще проблематичными. Но только при наличии их может быть достигнуто счастье. Всякое отклонение от этого, если не приведет к несчастью, во всяком случае вызовет беспокойство, а оно именно мешает правильному и нормальному ходу всего процесса. Поэтому в предупреждение "Книга Перемен" говорит:

*В начале сильная черта.
Если будет соразмерность,
то будет счастье.
Если отвлечешься к другому,
будет беспокойно.*

2

Каждый индивидуум, возникший в ходе творчества, которое было охарактеризовано на предыдущей ступени, представляет собою нечто са-

мостоятельное. И отношение между индивидуумами рассматривается с точки зрения их подлинного внутреннего содержания. Это не их внешнее соотношение, а соотношение их сущностей. Внешне они могут и не видеть друг друга, могут оставаться в тени один по отношению к другому, но в силу их внутреннего созвучия, в силу того, что в каждом из них есть эта внутренняя правда, они могут гармонически вторить друг другу. При таком внутреннем согласии, естественно, в них может возникнуть желание поделиться своим состоянием. Поэтому текст "Книги Перемен" здесь говорит:

*Сильная черта на втором месте.
Кричащий журавль находится в тени.
Его птенцы вторят ему.
У меня есть хороший кубок,
я разделю его с тобой.*

3

При выходе вовне, свойственном третьей позиции, когда уже возникли отдельные индивидуумы, человек встречает равного себе противника. Поэтому успех или неуспех заранее здесь не может быть предопределен, и альтернативность данной позиции "Книга Перемен" выражает следующим образом:

*Слабая черта на третьем месте.
Найдешь противника.
То забьешь в барабан, то перестанешь.
То заплачешь, то запоешь.*

4

В некоторых случаях гексаграмма рассматривается не как состоящая из двух триграмм, а состоящая из трех пар отдельных черт. В данном случае четвертая и третья черты представляют собою известную пару. Но третья черта была здесь охарактеризована полной неуверенностью. Само собою, сочетание с таким человеком, который совсем не уверен в своих действиях, не может быть благоприятным. Здесь больше следует обратиться вперед к выявлению той внутренней правдивости, которая характеризует всю данную ситуацию. Однако полное выявление ее на позиции, где эта внутренняя правдивость еще недостаточно созрела, для того чтобы распространиться вовне, еще невозможно. Здесь область "почти". Все дело в том, что здесь луна почти достигла полнолуния. И поэтому человеку может показаться данное положение опасным. Однако невозможность связи с предыдущим и устремление к последующему приводит к тому, что исход данной позиции все-таки благоприятен. Поэтому в тексте здесь говорится:

*Слабая черта на четвертом месте.
Луна близится к полнолунию.
Пара коней погибнет.
Хулы не будет.*

5

Вторая позиция, характеризующая данную ситуацию изнутри, говорит о созвучии сущностей. Пятая позиция, характеризующая тот же процесс

извне, говорит о результате такого созвучия — об объединении. Само наличие внутренней правдивости приводит к такому объединению. Поэтому текст здесь говорит только:

*Сильная черта на пятом месте.
Обладай правдой.
Она объединяет.
Хулы не будет.*

6

Все, что нужно было сделать для развития внутренней правдивости, и все, что нужно было сделать для объединения с другими личностями, также исполненными этой внутренней правдивости, уже было достигнуто. Продолжение той же деятельности привело бы лишь к стремлению чрезмерного подъема внутри самого себя. Однако поскольку в данной ситуации оно еще невозможно, то это было бы равносильно стремлению подняться на небо. Упорное и стойкое сохранение этого желания, само собою может привести лишь к несчастью, т.е. к тому, что внутренняя правдивость, характерная для данной ситуации, отошла бы от человека. В этом смысле текст говорит:

*Наверху сильная черта.
Голоса пернатых поднимаются в небе.
Стойкость к несчастью.*

№ 63. ЦЗИ-ЦЗИ. УЖЕ КОНЕЦ

В том ходе творчества, который был охарактеризован во второй части "Книги Перемен", здесь достигнут уже этап, когда индивидуальность создана. В этом смысле процесс завершен, и предпоследняя гексаграмма называется "Уже конец". Она представляет собою гармоническое завершение самого процесса, и это выражено в самой структуре гексаграммы. Дело в том, что по теории "Книги Перемен" на нечетных, сильных позициях гармонически могут находиться сильные черты, а на четных, слабых позициях — слабые. В данной гексаграмме все черты расположены именно таким образом. Первая, третья и пятая позиции заняты сильными чертами; вторая, четвертая и шестая позиции — слабыми. Казалось бы, в этом дается образ такого гармонического развития и результаты его, которые не предполагают возможности дальнейшего развития. Все уже достигнуто. Отдельное, индивидуальное уже создано. Если оно и понимается, как нечто малое, то все же ему предстоит развитие вплоть до того момента, когда оно станет великим. В этом смысле говорится о возможности развития малого. Стойкость и устойчивость, охарактеризованные расположением черт данной гексаграммы, здесь благоприятствуют всему процессу. Но именно здесь необходимо принять во внимание другой закон, существующий в теории "Книги Перемен" и состоящий в том, что все имеет тенденцию превратиться в свою противоположность. Каждая сильная черта имеет в себе самой заложенные тенденции превратиться в слабую, и наоборот. Поэтому, как увидим ниже, последняя гексаграмма представляет собою полную противоположность данной. Таким образом, если весь предыду-

это может привести к благополучию. И это незначительное, та малая жертва, о которой говорится в тексте, есть не что иное, как внутренняя устойчивость и правдивость, умение исходить из самого себя. Поэтому в тексте здесь сказано:

*Сильная черта на пятом месте.
Корова, убитая у восточных соседей,
не сравнится с небольшой жертвой
западных соседей.*

*Если будешь правдивым,
то поистине найдешь свое счастье.*

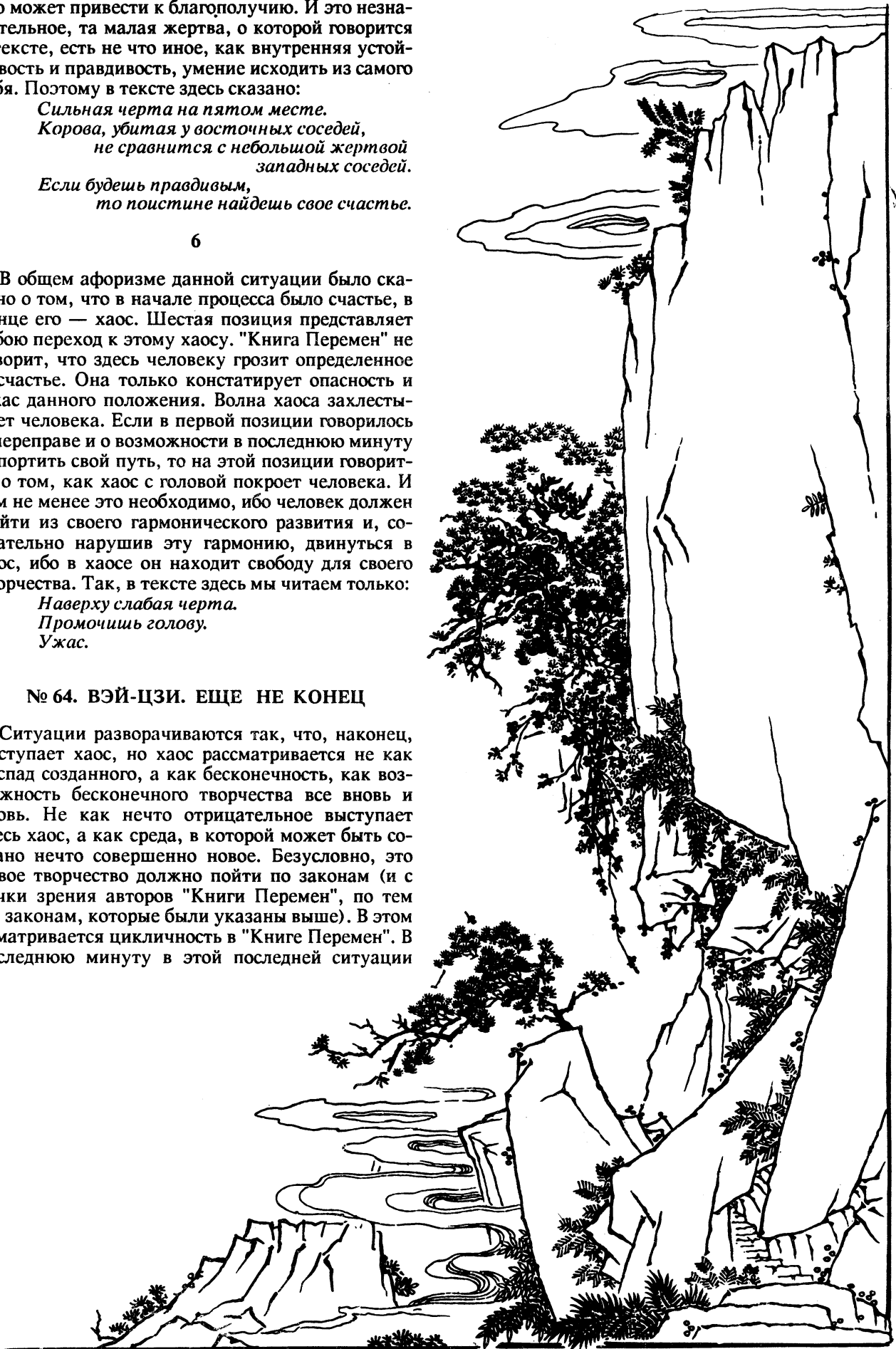
6

В общем афоризме данной ситуации было сказано о том, что в начале процесса было счастье, в конце его — хаос. Шестая позиция представляет собою переход к этому хаосу. "Книга Перемен" не говорит, что здесь человеку грозит определенное несчастье. Она только констатирует опасность и ужас данного положения. Волна хаоса захлестывает человека. Если в первой позиции говорилось о переправе и о возможности в последнюю минуту испортить свой путь, то на этой позиции говорится о том, как хаос с головой покрывает человека. И тем не менее это необходимо, ибо человек должен выйти из своего гармонического развития и, сознательно нарушив эту гармонию, двинуться в хаос, ибо в хаосе он находит свободу для своего творчества. Так, в тексте здесь мы читаем только:

*Наверху слабая черта.
Промочишь голову.
Ужас.*

№ 64. ВЭЙ-ЦЗИ. ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

Ситуации разворачиваются так, что, наконец, наступает хаос, но хаос рассматривается не как распад созданного, а как бесконечность, как возможность бесконечного творчества все вновь и вновь. Не как нечто отрицательное выступает здесь хаос, а как среда, в которой может быть создано нечто совершенно новое. Безусловно, это новое творчество должно пойти по законам (и с точки зрения авторов "Книги Перемен", по тем же законам, которые были указаны выше). В этом усматривается цикличность в "Книге Перемен". В последнюю минуту в этой последней ситуации



"Книга Перемен", точно напутствие, дает указание, что здесь может произойти и чего надо остерегаться. Самое важное здесь — это наличие полноты сил. Лучше, если их будет больше, чем надо, чем если их не хватит в последнюю минуту, ибо если бы их не хватило в последнюю минуту, то ничего благоприятного нельзя было бы ожидать. Вот почему текст говорит здесь:

*Еще не конец.
Свершение.
Молодой лис почти переправился.
Если вымочит хвост,
то не будет ничего благоприятного.*

1

Первая позиция представляет собой лишь начало данного процесса, т.е. начало выработки необходимых сил, поэтому можно предположить, что их здесь еще мало. В первую очередь текст "Книги Перемен" указывает на то, что человеку придется сильно пожалеть, если в прошлом, до того, как ему приходится переходить через хаос, он не выработал достаточного количества сил. Поэтому в тексте здесь сказано только следующее:

*В начале слабая черта.
Подмочишь свой хвост.
Сожаление.*

2

В то время, когда человек проходит через хаос, единственное, на чем он может держаться, это на самом себе, ибо в хаосе не на что положиться. Он должен на второй позиции, которая как раз характеризует внутреннюю жизнь человека и его замкнутость, полнейшим образом держаться на самом себе, сохранить самого себя. Поэтому в тексте здесь говорится:

*Сильная черта на втором месте.
Затормози колеса.
Стойкость — к счастью.*

3

Но вот наступает выход вовне. Он не может не наступить, и третья позиция характеризует именно его. Но здесь, когда "еще не конец", собственно говоря, еще ничего не достигнуто, и еще сил не хватает. Поход, который был бы предпринят, исходя из этой позиции, мог бы быть только неудачным. И тем не менее необходимость этого выхода вовне, необходимость предпринять новый цикл творчества здесь выступает настолько сильно, что позиция сама благоприятствует этому. Противоречивость данной позиции выражается в противоречивости афоризма, приписанного к ней:

*Слабая черта на третьем месте.
Еще не конец.
Поход — к несчастью.
Благоприятен брод через великую реку.*

4

Необходимым условием работы, которая может быть предпринята на данной позиции, является та стойкость, которая свидетельствует о полноте

сил. Только она может привести к удачному исходу. Но эта стойкость имеет перед собой не спокойную среду, а возбужденный хаос, и именно против него должен здесь выступать человек. Пусть его ожидают большие труды, пусть долгий срок он будет вынужден бороться, но если он будет, сохраняя стойкость, продолжать свою борьбу, то все в мире, весь мир, зашифрованный в образе великого царства, одобрит его деятельность. Против всех сил тьмы должен выступить он здесь. И "Книга Перемен" советует ему:

*Сильная черта на четвертом месте.
Стойкость — к счастью.
Раскаяние исчезнет.
При потрясении надо напасть
на страну бесов.
И через три года будет похвала
от великого царства.*

5

Стойкость, охарактеризованная на предыдущей ступени, здесь является центральной характеристикой человека. Она сообщает ему благородство. И это благородство, как из некоего центра, может излучаться во все окружение, облагораживая его. Суть этого внутреннего благородства — в той гармонии, которая подчеркивается средней позицией в верхней триграмме. Это внутренняя правдивость. То, что она должна излучаться и сиять, указывается тем, что данная черта является центральной в триграмме сияния. Так, здесь, в пределах мрака и хаоса, внутренняя правда сияет, озаряя все вокруг, и в этом указывается возможность дальнейшего проявления света, т.е. творчества. Иными словами, здесь дается исходная точка для нового цикла, начинающегося опять в первой гексаграмме творчества. В таком смысле может быть понят текст:

*Слабая черта на пятом месте.
Стойкость — к счастью.
Не будет раскаяния.
Если с блеском благородного человека
будет правда, то будет и счастье.*

6

После того, что достигнуто уже на предыдущей позиции, остается лишь умиротворение старости. Если человек вовремя не успел приступить к творчеству, то перед ним как возможность остается лишь найти свое удовлетворение в спокойном пире. Для того чтобы дойти до такого пира, надо обладать многими силами, надо обладать внутренней правдивостью. За бездеятельность здесь нельзя винить человека, и никто его не будет хулить за это. Он заслужил свой покой. Но если бы он предпринял какое-нибудь действие, когда уже время для этого действия миновало, то он был бы захлестнут силами хаоса с головой. Все было бы им потеряно. Поэтому в тексте сказано:

*Наверху сильная черта.
Обладай правдой, когда пьешь вино.
Хулы не будет.
Если помочишь голову, то, даже обладая
правдой, потеряешь эту правду.*

Иметь направление и уметь его ясно и всем понятно формулировать — дело розное. Последнее приобретается опытом, временем, жизнью и находится в прямом отношении к развитию самого общества. Отвлеченная формула не всегда годится. Кому есть что сказать, тот знает, как иногда трудно высказаться. Рутинные формулы, взятые напрокат, да еще задним числом, то есть когда уже все о них имеют некоторое понятие, гораздо более удаются, более нравятся обществу, чем незнакомые ему убеждения. Только обносившиеся идеи *очень* понятны.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.

...тот, кто ищет единства взглядов, должен спуститься в сферы, где доминируют более низкий моральный и интеллектуальный уровень, более примитивные и грубые вкусы и инстинкты... Можно сказать, что наибольшее число людей может объединить только наименьший общий знаменатель. Многочисленная группа, достаточно сильная, чтобы навязать свои взгляды на основные жизненные ценности и на все прочее всем остальным, никогда не будет состоять из людей с развитыми, резко индивидуальными вкусами: только люди, образующие «массу» в уничижительном смысле слова, наименее оригинальные и независимые, сумеют подкрепить свои идеалы численностью.

Ф. А. ХАЙЕК.



Редакция принимает к рассмотрению художественную прозу объемом до 4 авт. л., статьи и публикации до 2 авт. л.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция лишь сообщает автору о своем решении.

В связи с удорожанием почтовых расходов убедительно просим вас каждый раз вкладывать в вашу отправку (письмо, бандероль с рукописью) чистый конверт с маркой — это послужит гарантией своевременного ответа.

В номере:

**Мариэтта Чудакова:
о "шестидесятниках"
без иллюзий**

Новая забытая проза

**Культура по-шведски
и по-советски**

**Ироническая поэзия
Андрея Битова**

Кому служил авангард 20-х?

**Китайская классическая
"Книга Перемен"**

**Газета "Правда"
о Достоевском**

**Государственная Дума,
год 1907-й**